

6 декабря 1839 года высочайшим приказом Михаил Юрьевич Лермонтов был произведён в поручики, а чуть позже первый секретарь французского посольства Андрэ от имени посла де Баранта обратился к Александру Тургеневу с вопросом: «Правда ли, что Лермонтов в стихотворении „Смерть поэта“ бранит французов вообще или только одного убийцу Пушкина?» «Через день или два, — писал Тургенев Вяземскому, — кажется на вечеринке или на бале у самого Баранта, я хотел показать эту строфу Андрэ, но он прежде сам подошёл ко мне и сказал, что дело уже сделано, что Барант позвал на бал Лермонтова, убедившись, что он не думал поносить французскую нацию».

Как в случае с Пушкиным, когда голландский посол Геккери действовал в интересах своего приёмного сына Дантеса, так де Барант действовал в интересах своего сына Эрнеста. Папаша мечтал сделать из него дипломата, но тот интересовался только женщинами. «Салонный Хлестаков», — называл его Белинский.

Учась в юнкерской школе, Михаил Юрьевич написал шутовское четверостишие сокурснику Шаховскому, увлечённому гувернанткой какой-то фрейлины. Юнкерские стихи Лермонтова знали многие офицеры, и кто-то прочёл их Баранту, причём преподнёс это так, будто экспромт — о нём. Как и ожидалось, Барант потребовал объяснений от Лермонтова, но Михаил Юрьевич объявил, что всё это клевета, и обозвал сплетнями. В ту пору у Лермонтова был серьёзный роман с Марией Щербатовой, французик тоже увлёкся этой приятной женщиной, однако Мария предпочла Лермонтова. Дочь украинского помещика Штерича, она после смерти матери жила в Петербурге у бабушки, вышла замуж за князя Щербатова, а через год после свадьбы муж её умер — к счастью, как говорила её родственница, поскольку Щербатов был «злым и распущенным». Девятнадцатилетняя вдова окунулась в светскую жизнь, бывала в доме Карамзиных, где и познакомилась с Лермонтовым. Он предвидел будущее Марии:

*За каждый светлый день иль сладкое мгновенье
Слезами и тоской заплатишь ты судьбе.
Мне грустно... потому что весело тебе.*

Первого января на маскараде во французском посольстве Лермонтову не давали покоя, «беспрестанно приставали к нему, брали его за руки; одна маска сменялась другою, а он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочерёдно обращая на них свои сумрачные глаза. Мне тогда же почудилось, что я уловил на лице его прекрасное выражение поэтического творчества» (И. С. Тургенев).

Особым почтением в тот вечер пользовались две дамы: одна в голубом, другая в розовом домино. Несмотря на маски, все знали, что это особы царской семьи. Проходя мимо Лермонтова, дамы что-то пропищали ему, и Михаил Юрьевич, недолго думая, подхватил обеих под руки и прошёлся по залу, ошеломив своей дерзостью всех, кто это видел.

Бездушие света вознаграждалось любовью Марии Щербатовой. Их отношения с Лермонтовым стали самыми близкими, но де Барант тоже лелеял надежду. Известна реакция Лермонтова: «Эти Дантесы и де Баранты заносчивы сукины дети!»

16 февраля в доме графини Лаваль в разгар бала, словно бы невзначай вспыхнула ссора между Лермонтовым и де Барантом, который вызвал поэта на дуэль.

Стрелялись на Чёрной речке, почти на том же месте, где французский хлыщ Дантес убил Пушкина. Теперь перед Лермонтовым стоял такой же хлыщ. Француз промахнулся, Лермонтов выстрелил в воздух.

Юный Аким Шан-Гирей, живший в то время у Лермонтова, оставил воспоминания: «Нас распустили из училища утром, и я, придя домой часов в девять, очень удивился, когда человек сказал мне, что Михаил Юрьевич изволили выехать в семь часов; погода была прескверная, шёл мокрый снег с мелким дождём. Часа через два Лермонтов вернулся, весь мокрый, как мышь. „Откуда ты эдак?“ — „Стрелялся“. — „Как, что, зачем, с кем?“ — „С французиком“. — „Расскажи“. Он стал переодеваться и рассказывать: „Отправился я к Монго, он взял отточенные рапиры и пару кухенройтеров, и поехали мы за Чёрную Речку. Они были на месте. Монго подал оружие, француз выбрал рапиры, мы стали по колено в мокром снегу и начали; дело не клеилось, француз нападал вяло, я не нападал, но и не поддавался. Монго продрог и бессилен, так продолжалось минут десять. Наконец он оцарапал мне руку ниже локтя, я хотел проколоть ему руку, но попал в самую рукоятку, и моя рапира лопнула. Секунданта подошли и остановили нас; Монго подал пистолеты, тот выстрелил и дал промах, я выстрелил в воздух, мы помирились и разъехались, вот и всё».

Лермонтов, конечно же, упростил, на самом деле было сложнее. Барант убил бы его, если бы не поскользнулся, нанося решительный удар шпагой. А Щербатова даже не знала, что Лермонтов и де Барант дрались из-за неё.

«История эта оставалась довольно долго без последствий, Лермонтов по-прежнему продолжал выезжать в свет и ухаживать за своей княгиней; наконец одна неосторожная барышня, вероятно безо всякого умысла, придала происшествию достаточную гласность в очень высоком месте, вследствие чего приказом по гвардейскому корпусу поручик лейб-гвардии Гусарского полка Лермонтов за поединок был предан военному суду с содержанием под арестом, и в понедельник на страстной неделе получил казённую квартиру в третьем этаже Санкт-Петербургского ордонанс-гауза, где и пробыл недели две, а оттуда был перемещён на арсенальную гауптвахту, что на Литейной» (Аким Шан-Гирей).

У Елизаветы Алексеевны с горя отнялась нога. Как только старушка поправилась, она выхлопотала для себя разрешение навестить внука; а чтобы иметь о нём ежедневные сведения, упросила коменданта пускать к Мише её внучатого племянника Акима Шан-Гирея. Мария Щербатова ещё до ареста Лермонтова уехала в Москву, оставив маленького сына у своей бабушки. Спустя две недели на неё свалились два страшных горя: умер её сын, а Лермонтов стрелялся с Барантом! Между тем военно-судное дело шло своим порядком и начинало принимать благоприятный для Лермонтова оборот. Он пояснил командиру полка Плаутину, сменившему Хомутова, что не считал себя вправе отказать французю, так как тот выразил мысль, будто в России невозможно получить удовлетворения, но вовсе не собиравшись его убивать и потому выстрелил в воздух.

Тот факт, что секундантом Лермонтова был Монго Столыпин при его безукоризненной репутации, способствовало ограждению поэта от недоброжелательных на него наветов. По городу прошёл слух, что даже сам император отнёсся к Лермонтову снисходительно: «Государь сказал, что если бы Лермонтов подрался с русским, он знал бы, что с ним сделать, но когда с французом, то три четверти вины слагается». Все выражали сочувствие Лермонтову: «Это совершенная противоположность истории Дантеса. Здесь действует патриотизм!»

Узнав о том, Эрнест де Барант начал повсюду твердить, что Лермонтов хвастает, будто бы подарил ему жизнь, что он ещё строго накажет поэта за хвастовство!

«Я узнал эти слова француза, они меня взбесили, и я пошёл на гауптвахту. „Ты сидишь здесь, — сказал я Лермонтову, — взаперти и никого не видишь, а француз вот что про тебя везде трезвонит громче всяких труб“. Лермонтов написал тотчас записку, приехали два гусарских офицера, и я ушёл от него. На другой день он рассказал мне, что один из офицеров привозил к нему на гауптвахту Баранта, которому Лермонтов предложил, если он, Барант, недоволен, новую встречу по окончании своего ареста, на что Барант при двух свидетелях отвечал так: „Сударь, слухи, которые дошли до вас, неверны, и я спешу вам сказать, что я был полностью удовлетворён“. После чего его посадили в карету и отвезли домой. Нам казалось, что тем дело и кончилось; напротив, оно только начиналось. Мать Баранта поехала к командиру гвардейского корпуса с жалобой на Лермонтова за то, что он, будучи на гауптвахте, требовал к себе её сына и вызывал его снова на дуэль» (Аким Шан-Гирей).

Елизавета Верещагина написала дочери Саше: «Миша Лермонтов ещё сидит под арестом, и так досадно — всё дело испортил. Шло хорошо, а теперь Господь знает, как кончится. Его характер несносный — с большого ума делает глупости. Жалко бабушку — он её ни во что не жалеет. Несчастливая, многострадальная. При свидании всё расскажу. И ежели бы не бабушка, давно бы пропал. И что ещё несосно — что в его делах замешает других, ни об чём не думает, только об себе, и об себе неблагоприятно. Никого к нему не пускают, только одну бабушку позволили, и она таскается к нему, и он кричит на неё, а она всегда скажет — жёлчь у Миши в волнении».

Говоря о «других», Верещагина имела в виду Алексея Столыпина (Монго), который был секундантом. Как человек чести, Столыпин признался в этом сам, хоть кара ему грозила немалая. В результате император объявил Столыпину, что «в его звании и летах полезно служить, а не быть праздным». Монго должен был снова надеть офицерский мундир. А на бабушку внук накричал потому, что умоляла его извиниться перед Барантом, тем самым смягчив свою участь. Баранты усиленно этого добивались; даже после решения суда, когда Михаил Юрьевич был переведён на Кавказ, старший Барант обратился к шефу жандармов с просьбой вмешаться, принудить Лермонтова извиниться перед его сыном, ибо «светской репутации Эрнеста нанесён серьёзный ущерб».

На гауптвахту к Михаилу Юрьевичу пускали; приходили друзья, знакомые, побывал Виссарион Григорьевич Белинский. Он был покорён поэзией Лермонтова. «Каков его „Терек“? — делился с Василием Боткиным. — Чёрт знает — страшно сказать, а мне кажется, что в этом юноше готовится *третий* русский поэт и что Пушкин умер не без наследника. Как безумный, твердил я дни и ночи его „Молитву“, — но теперь я твержу, как безумный, другую *молитву*:

*И скучно, и грустно!.. И некому руку подать
В минуту душевной невзгоды!..*

Эту молитву твержу я теперь потому, что она есть полное выражение моего ментального состояния».

Виссарион Григорьевич пробыл у него четыре часа, сразу затем придя к Панаеву.

«Я взглянул на Белинского и тотчас увидел, что он в необыкновенно приятном настроении духа. Белинский, как я замечал уже, не мог скрывать своих ощущений и впечатлений и никогда не драпировался. В этом отношении он был совершенный контраст Лермонтову.

— Знаете ли, откуда я? — спросил Белинский.

— Откуда?

— Я был у Лермонтова, и попал очень удачно. У него никого не было. Ну, батюшка, в первый раз я видел этого человека настоящим человеком!!! Вы знаете мою светскость и ловкость: я вошёл к нему и сконфузился по обыкновению. Думаю себе: ну, зачем меня принесла к нему нелёгкая? Мы едва знакомы, общих интересов у нас никаких, я буду его стеснять, он меня... Что ещё связывает нас немного — так это любовь к искусству, но он не поддаётся на серьёзные разговоры... Я, признаюсь, досадовал на себя и решил пробыть у него не больше четверти часа. Первые минуты мне было неловко, но потом у нас завязался как-то разговор об английской литературе и Вальтер Скотте... «Я не люблю Вальтер Скотта, — сказал мне Лермонтов, — в нём мало поэзии. Он сух». И начал развивать эту мысль, постепенно одушевляясь. Я смотрел на него — и не верил ни глазам, ни ушам своим. Лицо его приняло натуральное выражение, он был в эту минуту самим собою... В словах его было столько истины, глубины и простоты! Я в первый раз видел настоящего Лермонтова, каким я всегда желал его видеть. Он перешёл от Вальтер Скотта к Куперу и говорил о Купере с жаром, доказывал, что в нём несравненно более поэзии, чем в Вальтер Скотте, и доказывал это с тонкостью, с умом и — что удивило меня — даже с увлечением.

Боже мой! Сколько эстетического чутья в этом человеке! Какая нежная и тонкая поэтическая душа в нём!.. Недаром же меня так тянуло к нему. Мне наконец удалось-таки его видеть в настоящем свете. А ведь чудак! Он, я думаю, раскаивается, что допустил себя хотя на минуту быть самим собою, — я уверен в этом...»

За время ареста Михаил Юрьевич написал несколько стихотворений, среди которых «Пленный рыцарь» — словно ответ Белинскому:

Мчись же быстрее, летучее время!

Душно под новой броней мне стало!

Смерть, как приедем, поддержит мне стремя, —

Слезу и сдёрну с лица я забрало.

Из поездки в Москву вернулась Мария Щербатова, и Михаил Юрьевич упросил караульного отлучиться на полчаса, чтобы повидаться с ней. Как рассказал потом караульный, «были приняты необходимые предосторожности. Лермонтов вернулся минута в минуту, и едва успел он раздеться, как на гауптвахту приехало одно из начальствующих лиц справиться, всё ли в порядке. Я знал, с кем виделся Лермонтов, и могу поручиться, что благорасположением дамы пользовался не де Барант, а Лермонтов».

13 апреля суд огласил решение: Лермонтов направляется на Кавказ в Тенгинский пехотный полк, — самый отдалённый полк и в самом опасном пункте Кавказской линии.

Но история этим не кончилась. Старший Барант прибегнул к помощи шефа жандармов Бенкендорфа, который после суда вызвал к себе Лермонтова, потребовав в письменной форме признать своё показание о «выстреле на воздух» ложным

и принести Эрнесту де Баранту извинения. Лермонтов вынужден был обратиться за помощью к великому князю Михаилу Павловичу:

«Граф Бенкендорф изволил предложить мне написать письмо господину Баранту, в котором я бы просил у него извинения в ложном моём показании насчёт моего выстрела. Я не мог на то согласиться, ибо это было против моей совести». Михаил Павлович ознакомил с этим императора; у реакции Николая I прямых свидетельств нет, но Эрнест де Барант был выслан из России.

За несколько дней до отъезда Лермонтова вышел в печати его роман «Герой нашего времени», в котором Михаил Юрьевич композиционно объединил отдельные кавказские повести. Благодаря такому писательскому ходу он создал совершенно новый для русской и европейской литературы жанр социально-психологического романа. Это было явление, из которого впоследствии выросли Толстой, Достоевский и Чехов, подняв русскую литературу на высочайший мировой уровень.

«Вышли повести Лермонтова. Дьявольский талант! — делился Белинский с Боткиным. — Молодо-зелено, но художественный элемент так и пробивается сквозь пену молодой поэзии, сквозь ограниченность субъективно-салонного взгляда на жизнь. Недавно был я у него в заточении и в первый раз поразговаривал с ним от души. Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного! О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура! Мне отрадно было видеть в его рассудочном, охлаждённом и озлобленном взгляде на жизнь и людей семена глубокой веры в достоинство того и другого. Я это сказал ему — он улыбнулся и сказал: „Дай Бог!“

Он славно знает по-немецки и Гёте почти всего наизусть дует. Байрона режет тоже в подлиннике. Кстати: дуэль его — просто вздор, Барант слегка царапнул его по руке, и царапина давно уже зажила. Суд над ним кончен и пошёл на конфирмацию к царю. Вероятно, переведут молодца в армию. В таком случае хочет проситься на Кавказ, где готовится какая-то важная экспедиция против черкес. Эта русская разудалая голова так и рвётся на нож. Большой свет ему надоел, давит его, тем более что он любит его не для него самого, а для женщин. Ну, от света ещё можно бы оторваться, а от женщин — другое дело. Так он и рад, что этот случай отрывает его от Питера».

* * *

В начале мая, прощаясь с друзьями в квартире Карамзиных, где были и полковые товарищи Лермонтова, поэт, стоя у окна и глядя на Неву, экспромтом написал стихотворение «Тучки небесные».

*Тучки небесные, вечные странники!
Степь лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную.*

Приезд Лермонтова в Москву совпал с именинным обедом в честь Николая Васильевича Гоголя, устроенным историком Погодиным. Погодин пригласил и Лермонтова. Было весело, шумно, смеялись, и только Гоголь плохо скрывал какую-то озабоченность. После обеда все разбрелись по саду, и Лермонтова попросили прочитать «Мцыри».

На другой день, на вечере у Свербеевой, Лермонтов снова увидел Гоголя, завязался разговор, и проговорили до двух часов ночи.

В Москве Михаил Юрьевич встретил Василия Боборыкина, товарища по юнкерской школе. Расставшись в 1837 году во Владикавказе, когда Боборыкин с изумлением смотрел, как Лермонтов и француз рисовали и пели во все горло: «Я живу, я живу свободным!» — они больше не виделись. Боборыкин теперь был в длительном отпуске, тратя время, как сам признавался, на обеды, поездки к цыганам, загородные гулянья и почти ежедневные посещения Английского клуба. «Грустно вспомнить об этом времени, тем более что меня преследовала скука и бессознательная тоска. Товарищами этого беспутного прожигания жизни и мотовства были молодые люди лучшего общества и так же скучавшие, как я. И вот в их-то компании я встретил Лермонтова... Мы друг другу не сказали ни слова, но устремлённого на меня взора Михаила Юрьевича я и до сих пор забыть не могу: так и виделся в этом взоре впоследствии читанные мною его слова:

*Печально я гляжу на наше поколение, —
Грядущее его иль пусто, иль темно...*

Нужно было особое покровительство провидения, чтобы выйти из этого маразма. Не скрою, что глубокий, проникающий в душу и презрительный взгляд Лермонтова, брошенный им на меня при последней нашей встрече, имел немалое влияние на перелом в моей жизни, заставивший меня идти совершенно другой дорогой, с горькими воспоминаниями о прошедшем».

Из письма Ю. Ф. Самарина князю Гагарину:

«Я часто видел Лермонтова за всё время его пребывания в Москве. Это в высшей степени артистическая натура, неуловимая и не поддающаяся никакому внешнему влиянию благодаря своей неутомимой наблюдательности и большой глубине индифферентизма. Мне жаль, что я его не видел более долгое время. Я думаю, что между ним и мною могли бы установиться отношения, которые помогли бы мне постичь многое».

Довольно часто Лермонтов бывал у Мартыновых, и девицам Мартыновым это нравилось. Отца у них уже не было, умер; брат Николай служил на Кавказе. Он после первой командировки был награждён орденом святой Анны 3-ей степени с бантом, вернулся в Петербург, встречался с Лермонтовым, но никогда об этом не упоминал и вообще умалчивал, что два года находился в своём полку. В 1839 году по каким-то причинам был переведён на Кавказ — ротмистром в Гребенский казачий полк. Мать за него очень боялась, писала: «Где ты, мой дорогой Николай? Я страшно волнуюсь за тебя, здесь только и говорят о неудачах на Кавказе. Я стала более чем когда-либо суеверна: каждый вечер гадаю на трефового короля и прихожу в отчаяние, когда он окружён пиками».

Рассказала о Лермонтове: «Он у нас чуть ли не каждый день. По правде сказать, я его не особенно люблю; у него слишком злой язык и, хотя он выказывает полную дружбу к твоим сёстрам, я уверена, что при первом случае он не пощадит и их; эти дамы находят большое удовольствие в его обществе. Слава Богу, он скоро уезжает; для меня его посещения неприятны».

Вместе с Лермонтовым бывали у Мартыновых Александр Тургенев и Лев Гагарин, — шутили, пили чай, гуляли с девицами. Но это случалось днём, а вечерами Михаил Юрьевич ездил к цыганам. Любил цыганские песни. Приехала Мария Щербатова. Прощание её с Лермонтовым было тяжёлым: она и плакала, и смеялась, и без конца повторяла: «Люблю! Люблю!» Больше они никогда не увидятся.

В последних числах мая Лермонтов выехал на Кавказ. Ночь была сырая, и, прощаясь с друзьями, он с грустью о чём-то думал. Ехал по Большому московскому тракту,

который пересекал с севера на юг обширные земли донского казачества. Тракт проходил через станицу Казанскую на Верхнем Дону, станицу Каменскую на Северском Донце и город Новочеркасск, в котором с недавнего времени служил генерал Хомутов.

Михаил Юрьевич не мог не навестить бывшего своего командира, который теперь был начальником штаба войска Донского. Он прогостил у него трое суток. Хомутов рассказал, что первого мая начался Чеченский поход, войска двинулись в Аух и Салатавию, затем через Кумыкское плоскогорье на правый берег Сунжи и, наконец, перенесли военные действия в Малую Чечню, где встречи с неприятелем сделались чаще, и битвы упорнее и кровопролитнее. Перекрестил на дорогу своего питомца.

В Ставрополь Лермонтов прибыл 10 июня. Доложил о своём прибытии командующему войсками генерал-адъютанту Граббе, который уже получил приказ императора не отпускать опального поэта с передовой и задействовать его во всех военных операциях! Граббе приписал его к чеченскому полку генерала Галафеева — в самое пекло, где недавно русские войска потерпели ряд неудач: горцами были взяты три русские крепости, остальные крепости горцы держали в осаде.

В свой полк Михаил Юрьевич прибыл в самый разгар подготовки к походу. Познакомился с братом Пушкина, Львом Сергеевичем, бесстрашным в боях офицером и в то же время способным на детские выходки. Декабрист Лорер с юмором вспомнил, как «в один прекрасный вечер, возвратясь от друзей часов в 11, я лёг в постель и стал читать по обыкновению. Вдруг слышу стук колёс подъехавшей телеги и голос, называющий мою фамилию. Я узнал, что это был Лев Пушкин, и не успел я вскочить с постели, как он лежал уже на мне и целовал меня.

— Куда тебя бог несёт? — спросил я.

— За Кубань, в экспедицию.

Я чрезвычайно рад был видеть милого Льва Сергеевича. Всегда, а особенно в скучной станице, это невыразимое счастье и находка. В такие минуты забываешь всю горечь жизни. После первых расспросов и рассказов, сидевши у меня на кровати, Пушкин громко приказал позвать своего камердинера, и в самом деле вошёл человек в бархатном чекмене, обшитом галунами, опоясанный черкесским ножом, с серебряными пуговицами и кинжалом, богато оправленным в серебро. Зная прежнюю диогеновскую жизнь Пушкина, я невольно улыбнулся, но он преспокойно отдавал свои приказания: «Здесь поставь мне железную кровать, вынь батистовое бельё и шёлковое одеяло да подай мою красную шкатулку».

— Скажи, пожалуйста, откуда взял ты эту роскошную барскую обстановку, Лев? Верно, выиграл у кого-либо из гвардейских офицеров?

— Совсем нет. Ко мне в Ставрополь приехал дальний родственник, флигель-адъютант N, его отправили курьером в Тифлис, и он оставил мне своего человека и вещи на сохранение, а так как меня самого отправили в экспедицию совершенно неожиданно, то я и взял всё это с собой.

— Помилуй, любезный, да ведь это всё — чужое, — возразил я.

— А что ж за беда? — отвечал, смеючись, Пушкин.

Когда мы улеглись, и я увидел Льва Сергеевича в батистовой рубашке, покрытого шёлковым одеялом, на двух сафьяновых красных подушках, я не мог удержаться от гомерического смеха, и мы оба хохотали, как дети».

Ещё с одним человеком в отряде, хотя и не сразу, сблизился Михаил Юрьевич — с Руфином Дороховым, командиром летучей сотни. С тем самым отчаянным Дороховым, которого Лев Толстой в романе «Война и мир» вывел Долоховым.

«Лермонтов принадлежал к людям, которые не только не нравятся с первого взгляда, но даже поселяют против себя довольно сильное предубеждение. Было

много причин, по которым и мне он не полюбился с первого разу. Сочинений его я не читал, потому что до стихов, да и вообще до книг, не охотник, его холодное обращение казалось мне надменнойостью, а связь его с начальствующими лицами и со всеми, что тёрлось около штабов, чуть не заставили меня считать его за столичную выскочку. Да и физиономия его мне не была по вкусу, — впоследствии сам Лермонтов иногда смеялся над нею и говорил, что судьба будто на смех послала ему общую армейскую наружность. На каком-то увеселительном вечере мы чуть с ним не посчитались очень крупно, — мне показалось, что Лермонтов трезвее всех нас, ничего не пьёт и смотрит на меня насмешливо. То, что он был трезвее меня, — совершенная правда, но он вовсе не глядел на меня косо и пил, сколько следует, только, как впоследствии оказалось, на его натуру, совсем не богатырскую, вино почти не производило никакого действия. Этим качеством Лермонтов много гордился, потому что и по годам, и по многому другому он был порядочным ребёнком. Мало-помалу моё неприятное впечатление стало изглаживаться. Я узнал события его прежней жизни, узнал, что он по старым связям имеет много знакомых и даже родных на Кавказе, а так как эти люди знали его ещё дитятей, то и естественно, что они оказывались старше его по служебному положению» (Р. И. Дорхов).

С 6 июля по 2 августа Лермонтов принимал участие в целом ряде стычек и сражений. Насколько было опасно, можно прочитать в воспоминаниях Николая Лорера: «Владимир Николаевич Лихарев был в стрелках с Лермонтовым, тогда высланным из гвардии. Сражение приходило к концу, и оба приятеля шли рука об руку, споря о Канте и Гегеле, и часто, в жару спора, неосторожно останавливались. Но горская пуля метка, и винтовка редко даёт промахи. В одну из таких остановок вражеская пуля поразила Лихарева в спину навывлет, и он упал навзничь».

Самое значительное сражение произошло 11 июля на реке Валерик. Плоскогорная Чечня, присоединившись весной к горным чеченцам, непрерывно воюющим против русских, обратила все взоры на имама Шамиля как на освободителя. В июне подняли восстание надтеречные чеченцы: в нескольких аулах разгромили мирных князей, забрали всё имущество и ушли вглубь Чечни. Генерал-лейтенант Галафеев поставил целью остановить их движение, помешать соединению с Шамилем, который собрал уже огромное ополчение.

Четырёхтысячный отряд Галафеева вышел из крепости Грозной 6 июля и с боем прошёл до селения Гехи. Тем временем чеченцы собрали крупные силы под командованием наиба Мухаммеда. Утром 11 июля отряд Галафеева двинулся к Гехинскому лесу. Чеченцы, скрывавшиеся в лесной чаще, не выдавали себя, заманивая противника в глубь лесных дебрей. Лишь дым костров (маяков), с помощью которых горцы сообщались друг с другом, передавая сигналы о движении вражеских войск, говорил о присутствии в лесу чеченских разведчиков. Войдя в лес, русский отряд двинулся вперёд по узкой армянской дороге, подошёл к чеченским завалам, перекрывавшим её, и чеченцы открыли яростный огонь! Пули летели со всех сторон, чеченцы забирались на деревья и, привязывая себя к стволам, стреляли сверху. Командиры бросали свои роты в штыковые атаки на штурм завалов, теряя людей, но чеченцы исчезали как привидения.

Наконец, оттеснив их и разобрав завалы, отряд двинулся к лесной поляне. По опушке протекала речка Валерик (Валарг-хи), пересекавшая дорогу. Берега её были отвесны: по левому тянулся лес, правый, обращённый к русским, был открыт лишь в некоторых местах. Выехав на поляну, русская артиллерия открыла картечный огонь в сторону леса. В ответ не было ни звука. Был отдан приказ сделать привал. Артиллеристы уже снимала орудия с конных передков, как в этот момент чеченцы открыли

убийственный огонь. Стреляли из-за завалов, с вершин деревьев, из-за кустов, били на выбор. Скоро заряды кончились, и тогда они кинулись вперёд, выхватив шашки и кинжалы. Начался упорный рукопашный бой прямо в воде. Кровь опьяняла чеченцев, теряли рассудок; глаза загорались свирепым огнём, движения становились ловчее, быстрее, из горла летели звериные рыки.

«Выйдя из леса со своими орудиями, я увидел огромный завал, обогнул его с фланга и принялся засыпать гранатами. Возле меня не было никакого прикрытия. Оглядевшись, увидел, однако, Лермонтова, который, заметив моё опасное положение, подоспел со своими охотниками. Но едва начался штурм, как он уже бросил орудия и верхом на белом коне, ринувшись вперёд, исчез за завалами. После двухчасовой страшной резни грудь с грудью неприятель бежал. Я преследовал его со своими орудиями — и, увлечшись стрельбой, поздно заметил засаду, устроенную в высокой кукурузе. Один миг раздумья — и из наших лихих артиллеристов ни один не ушёл бы живым. Быстро приказал я зарядить все четыре орудия картечью и встретил нападающих таким огнём, что они рассеялись, оставив кукурузное поле буквально заваленное своими трупами» (К. Х. Мамацев).

С тех пор имя Константина Христофоровича Мамацева приобрело в отряде большое уважение. Лермонтов тоже показал на реке Валерик образцовую доблесть. В официальных военных сводках о нём говорилось: «Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов во время штурма неприятельских завалов на реке Валерик имел поручение наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и уведомлять начальника отряда об её успехах, что было сопряжено с величайшею для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами. Но офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнил возложенное на него поручение с отменным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших солдат ворвался в неприятельские завалы».

«В одной из экспедиций, куда пошли мы с ним вместе, случай сблизил нас окончательно: обоих нас татары чуть не изрубили, и только неожиданная выручка спасла нас. В походе Лермонтов был совсем другим человеком против того, чем казался в крепости» (Р. И. Дорохов).

Кровопролитный бой на реке Валерик Михаил Юрьевич описал в стихотворении «Валерик». В нём нет ни единого слова в осуждение «врага» или чванливого превосходства над ним, как нет и порицания русских. Народы Кавказа пережили трехвековое владычество Османской империи, приняли мусульманство, — теперь имамы Кавказа, имея хозяев в Турции, получая оттуда оружие, пугали людей русским крепостным правом. «Уйти под защиту халифа» принималось ими как единственный выход.

В крепость Грозную отряд возвращался с перестрелками, а через несколько дней началась экспедиция в Северный Дагестан. По пути, в палатке у Миатлинской переправы, барон Палён нарисовал карандашом профильный портрет Лермонтова. У поэта усталый вид, он, очевидно, давно не брился, и вообще ему было не до себя: фуражка помята, сюртук без эполет, ворот расстёгнут... Существует мнение, что на этом портрете Лермонтов единственно схож с оригиналом.

В Дагестане отряд пробыл две недели; крупных боевых действий не происходило, и люди смогли отдохнуть. «Хорошо помню Лермонтова, — вспоминал Константин Христофорович Мамацев, — и как сейчас вижу его перед собою, то в красной канаусовой рубашке, то в офицерском сюртуке без эполет, с откинутым назад воротником и переброшенною через плечо черкесскою шашкой. Натуру его постичь было трудно. В кругу гвардейских офицеров он был всегда весел, любил острить, но его остроты часто переходили в меткие и злые сарказмы, не доставлявшие особого удовольствия тем, на кого были

направлены. Когда он оставался с людьми, которых любил, он становился задумчив, и тогда лицо его принимало необыкновенно выразительное, серьёзное и даже грустное выражение. Но стоило появиться хоть одному гвардейцу, как он тотчас же возвращался к своей банальной весёлости. Он имел склонность и к музыке, и к живописи, но рисовал одни карикатуры, и если чем интересовался — так это шахматною игрою, которой предавался с увлечением. Он искал, однако, сильных игроков, и часто устраивались состязания между ним и молодым артиллерийским поручиком Москалёвым. Последний был действительно отличный игрок, но ему только в редких случаях удавалось выиграть партию у Лермонтова. Лермонтов был отчаянно храбр, удивлял своею удаляю даже старых кавказских джигитов, но это не было его призванием. Даже в этом походе он никогда не подчинялся никакому режиму, и его команда, как блуждающая комета, бродила всюду, появляясь там, где ей вздумается. В бою она искала самых опасных мест».

Тяжелораненый Руфин Дорохов был отправлен в Пятигорск, передав командование своей летучей сотней Лермонтову. «К делу, я теперь в Пятигорске, — писал он приятелю, — лечусь от ран под крылышком у жены — лечусь и жду погоды! Когда-то проветрит? В последнюю экспедицию я командовал летучею сотнею казаков, и по силе моих ран сдал моих удалых налётов Лермонтову. Славный мальй — честная, прямая душа. Мы с ним подружились и расстались со слезами на глазах. Командовать летучею командою легко, но не малина. Жаль, очень жаль Лермонтова, он пылок и храбр, — не носить ему головы».

Бесстрашие Лермонтова, его тактическая разумность, отсутствие неоправданной жестокости по отношению к чеченцам снижали ему уважение воинского руководства и даже самих чеченцев. Девять раз его отряд ходил за линию фронта, Лермонтов дважды был ранен, но никогда его летучая сотня не действовала исподтишка — сражались честно. Михаилу Юрьевичу доставляло удовольствие скакать с врагами на перегонки, увёртываться от них, избегать тех, кто пытался идти ему наперерез. Его натура, сильная и подвижная не выносила обыденности.

«Он любил бешеную скачку и предавался ей на воле с какою-то необузданностью. Ничто ему не доставляло большего удовольствия, как головоломная джигитовка по необозримой степи, где он, забывая весь мир, носился как ветер, перескакивая с ловкостью горца через встречавшиеся на пути рвы, канавы и плетни» (П. К. Мартыанов).

Но вот как вспоминал о Лермонтове барон Россильон:

«Лермонтов был неприятный, насмешливый человек и хотел казаться чем-то особенным. Он хвастал своею храбростью, как будто на Кавказе, где все были храбры, можно было кого-либо удивить ею. Он мне был противен необычайною своею неопрятностью. Он носил красную канаусовую рубашку, которая, кажется, никогда не стиралась и глядела почерневшею из-под вечно расстёгнутого сюртука. Гарцевал на белом, как снег, коне, на котором, молодецки заломив холщовую шапку, бросался на чеченские завалы. Собрал какую-то шайку грязных головорезов. Совершенно входя в их образ жизни, спал на голой земле и ел с ними из одного котла».

Своей походной одеждой и шашкой через плечо Лермонтов был ненавистен не только Россильону. Был случай, когда прибыл в отряд какой-то важный чин из Петербурга, и Лермонтов предстал перед ним потный, расхристанный после стычки с чеченцами, — и сабля через плечо. Это вместо безукоризненного офицерского вида.

До глубокой осени оставались войска в Чечне, сражаясь почти ежедневно. По состоянию здоровья Лермонтов на короткое время отправлен был в Пятигорск, откуда написал Алексею Лопухину:

«Мой милый Алёша. С тех пор как я на Кавказе, я не получал ни от кого писем, даже из дому не имею известий. Может быть, они пропадают, потому что я не был

нигде на месте, а шатался всё время по горам с отрядом. У нас были каждый день дела, и одно довольно жаркое, которое продолжалось 6 часов сряду... Когда мы увидимся, я тебе расскажу подробности очень интересные, — только бог знает, когда мы увидимся. Я теперь вылезился почти совсем и еду с вод опять в отряд, в Чечню. Если ты будешь мне писать, то вот адрес: *на Кавказскую линию, в действующий отряд генерал-лейтенанта Галофеева, на левый фланг*. Я здесь проведу до конца ноября, а потом не знаю, куда отправлюсь — в Ставрополь, на Чёрное море или в Тифлис. Я вошёл во вкус войны и уверен, что для человека, который привык к сильным ощущениям этого банка, мало найдётся удовольствий, которые бы не показались приторными. Только скучно то, что либо так жарко, что насилу ходишь, либо так холодно, что дрожь пробирает, либо есть нечего, либо денег нет, — именно что со мною теперь. Я прожил всё, а из дому не присылают. Не знаю, почему от бабушки ни одного письма. Не знаю, где она, в деревне или в Петербурге. Напиши, пожалуйста, видел ли ты её в Москве».

Самый жаркий и продолжительный бой, в котором участвовал Лермонтов, случился 27 октября:

«В Автуринских лесах войскам пришлось проходить по узкой лесной тропе под адским перекрёстным огнём неприятеля; пули летели со всех сторон, потери русских росли с каждым шагом, и порядок невольно расстраивался. Последний арьергардный батальон, при котором находились орудия Мамацева, слишком поспешно вышел из леса, и артиллерия осталась без прикрытия. Чеченцы разом изрубили боковую цепь и кинулись на пушки. В этот миг Мамацев увидел возле себя Лермонтова, который точно из земли вырос со своею командой. И как он был хорош в красной шёлковой рубашке с косым расстёгнутым воротом; рука сжимала рукоять кинжала. И он, и его охотники, как тигры, сторожили момент, чтобы кинуться на горцев, если б они добрались до орудий. Но этого не случилось. Мамацев подпустил неприятеля почти в упор и ударил картечью. Чеченцы отхлынули, но тотчас собрались вновь, и начался бой, не поддающийся никакому описанию. Чеченцы через груды тел ломились на пушки; пушки, не умолкая, гремели картечью и валили тела на тела. Артиллеристы превзошли в этот день всё, что можно было от них требовать; они уже не банили орудий — для этого у них недоставало времени, а только посылали снаряд за снарядом. Наконец эту страшную канонаду услышали в отряде, и высланная помощь дала возможность орудиям выйти из леса. По выходе из него попала небольшая площадка, на которой Мамацев поставил четыре орудия, обстреливая дорогу, чтобы облегчить отступление арьергарду. Вся тяжесть боя легла на артиллерию. К счастью, скоро показалась другая колонна, спешившая на помощь с левого берега Сунжи. Раньше всех явился к орудиям Мамацева Лермонтов со своей командой, но помощь его оказалась излишней: чеченцы прекратили преследование. Пользуясь плоскостью местоположения, Лермонтов бросился с горстью людей на превосходного числом неприятеля и неоднократно отбивал его нападения на цепь наших стрелков и поражал неоднократно собственною рукою хищников. Затем с командою первый перешёл шалинский лес, обращая на себя все усилия хищников, покушавшихся препятствовать нашему движению, и занял позицию в расстоянии ружейного выстрела от пушки. При переправе через Аргун он действовал отлично... и, пользуясь выстрелами наших орудий, внезапно кинулся на партию неприятеля, которая тотчас же ускакала в ближайший лес, оставив в руках наших два тела» (В. А. Понто).

30 октября, опять при речке Валерик, поручик Лермонтов явил новый пример хладнокровного мужества, отрезав дорогу от леса сильной партии неприятеля, из которой только малая часть спаслась благодаря быстроте лошадей, а остальные были уничтожены.

24 декабря командующий кавалерией действующего отряда на левом фланге Кавказской линии Голицын подал рапорт командующему войсками Кавказской линии и Черномории генерал-адъютанту Граббе представить к награждению Михаила Лермонтова золотой саблей с надписью «За храбрость». Свой рапорт Голицын сопроводил запиской генерала Галафеева: «...я поручил начальству Лермонтова команду из охотников состоящую. Невозможно было сделать выбора удачнее: всюду поручик Лермонтов первым подвергался выстрелам хищников и во всех делах оказывал самоотвержение и распорядительность выше всякой похвалы».

Наградной список, отправленный в Петербург, был рассмотрен императором в конце февраля следующего года; Николай Павлович вычеркнул из него Лермонтова, объявив: «Поручик Лермонтов при своём полку не находился, но был употреблён в экспедиции с особо порученною ему казачьею командою; поручик Лермонтов непременно должен состоять налицо во фронте, и чтобы начальство отнюдь не осмеливалось ни под каким предлогом удалять его от фронтовой службы в своём полку!»

* * *

Елизавета Алексеевна, после отъезда внука на Кавказ, немедленно сдала большую петербургскую квартиру, за которую приходилось платить две тысячи в год, и переехала на Шпалерную улицу в одноэтажный деревянный дом. Изюм всех сил она хлопотала о внуке, писала родным и знакомым, полковому начальству Лермонтова, — писала кому только можно, прося замолвить за него словечко перед государем. Жаловалась, что не доживёт до возвращения Мишеньки. В декабре Михаилу Юрьевичу дали двухмесячный отпуск для свидания с ней.

Лермонтов до последнего ничего не знал, частные письма не доходили. Денег, кроме офицерского жалования, не было, и он чувствовал себя стеснённо. Не знал и того, что в журнале «Отечественные записки» постоянно печатались его произведения, а по ходатайству Андрея Краевского Цензурный комитет разрешил к изданию первый томик его стихов. 25 октября сборник вышел в свет в количестве тысячи экземпляров.

Перед Новым годом он получил разрешение на поездку до Ставрополя, где должен был взять отпускное свидетельство. Был извещён, что военный министр сделал запрос в Штаб командующего войсками о его поведении. В Ставрополе зашёл в канцелярию, узнать, что же ответили? Старшим адъютантом оказался университетский товарищ Костенецкий, сказал Лермонтову, что ответ подготовлен, но ещё не отправлен. Велел писарю отыскать бумаги. Оказалось, что писарь собственноручно подготовил характеристику: «Поручик Лермонтов служит исправно, ведёт жизнь трезвую и добропорядочную и ни в каких злокачественных поступках не замечен». Михаил Юрьевич расхохотался и велел, ничего не меняя, так и отправить министру.

Остановился он у Павла Ивановича Петрова, и, как всегда, начались радостные встречи с друзьями, среди которых было немало декабристов, отбывавших кавказскую ссылку рядовыми солдатами. Помянули Александра Одоевского, умершего в августе 1839 года от малярийной лихорадки, похороненного в форте Лазаревском.

В те дни в Ставрополе было много офицеров, отличившихся в Чеченском походе и поощрённых отпусками. Приехал Монго Столыпин. Летом он добился разрешения участвовать в экспедиции Галафеева и вместе с Лермонтовым сражался на речке Валерик. Участвовал и в осенних боях, за что был представлен к ордену св. Владимира 4-й степени с бантом.

Среди офицеров был молоденький Александр Есаков, оставивший свои воспоминания:

«Я ещё совсем молодым человеком был в осенней экспедиции в Чечне и провёл потом зиму в Ставрополе. Редкий день мы не встречались в обществе. Чаще всего сходились у барона Вревского, тогда капитана генерального штаба. Как с младшим в этой избранной среде, ещё безусым, Лермонтов школьничал со мной до пределов возможного; а когда замечал, что теряю терпение (что, впрочем, недолго заставляло себя ждать), он, бывало, ласковым словом, добрым взглядом или поцелуем тотчас уймёт мой пыл».

Более официальная обстановка наблюдалась на обедах у командующего войсками генерала Граббе. Павел Христофорович Граббе высоко ценил Лермонтова как человека талантливого, дельного и храброго офицера. Но, как вспоминал Николай Дельвиг, обедали чопорно, молча; Лев Пушкин и Лермонтов называли молчаливых картинной галереей. 14 января, получив отпускной билет на два месяца, Михаил Юрьевич выехал в Петербург через Новочеркасск, Воронеж и Москву.

В Воронеже задержался у вышедшего в отставку поручика лейб-гвардии Гусарского полка Александра Потапова. В мае он уже побывал у него. Тогда, проездом на Кавказ, к Потапову пригласил его однополчанин Александр Реми, вместе с Лермонтовым ехавший в Ставрополь. По дороге узнали, что у Потапова гостит его дядя — генерал Алексей Николаевич Потапов, известный в армейских кругах как «свирепый генерал». Лермонтов наотрез отказался встречаться с ним, зная свою несдержанность; однако Реми его уговорил. Потапов отвёл им отдельный флигель, но когда за обедом Лермонтов встретился со «свирепым генералом», на нём лица не было, аппетит пропал. К удивлению, генерал был любезен, а к концу обеда любезность его с Лермонтовым дошла до дружески-товарищеского обращения. Лермонтов развернулся! После обеда Реми и Потапов пошли зачем-то во флигель, и, возвращаясь, увидели, что Лермонтов сидит на шее согнувшегося генерала! Оказалось, «зверь» и поэт играли в чехарду. После чего Реми в присутствии Лермонтова рассказал о его опасениях, рассказал, как Лермонтов собирался даже остаться и ждать его на почтовой станции. Генерал рассмеялся, заметив молодым людям: «На службе никого не щажу — всех поем, а в частной жизни я человек как человек».

В этот раз у Потапова Михаил Юрьевич написал музыку к своей «Казачьей колыбельной». К сожалению, ноты не сохранились. Отсюда, уже без остановок, доехал до Москвы, и первое, что узнал, это то, что в «Герое нашего времени» он вывел Наталью Мартынову княжной Мэри! Он восемь месяцев не получал писем, не представлял, что происходит в обеих столицах, а между тем, происходило много интересного и в том числе свадьба одной из сестёр Мартынова с князем Гагариным.

Лев Гагарин переехал в Москву из Петербурга в начале 1840 года после шумного скандала, в котором сыграл низкую роль. При одобрительном смехе приятелей он угрожал графине Воронцовой-Дашковой швырнуть в партер театра любовные письма к нему и публично её ославить, если она не вернёт ему своей благосклонности. Князь Лобанов-Ростовский вызвал его на дуэль, но при покровительстве Третьего отделения и родного дяди, известного николаевского фаворита князя Меншикова, Лев Гагарин от дуэли увильнул. Всё это смаковалось в петербургских великосветских гостиных, скандал разрастался по мере того, как развивалась история с вызовом Лобанова и уклонением Гагарина. Графиня Воронцова-Дашкова не смела несколько недель показываться из дому.

Переехав в Москву, Гагарин и здесь продолжал её компрометировать, зная, как любит Москва всякие сплетни и толки, особенно если касаются Петербурга. Встретив на улице простолюдинку, похожую на Воронцову-Дашкову, Гагарин заказал ей самую

модную шляпку, одежду для прогулки и отправился, взяв её под руку, на Тверской бульвар. Быстро разнёсся слух, что Воронцова-Дашкова в Москве и продолжает любовную связь с Гагариным! Дошло до Петербурга — со всевозможными прибавлениями и комментариями. Когда маскарад разъяснился, московское высшее общество приняло Гагарина с расprostёртыми объятьями: шутка его передавалась из уст в уста, из гостиной в гостиную.

Вот этого-то молодого человека и принимала в своём доме госпожа Мартынова в мае минувшего года. Но в то время как она писала сыну на Кавказ, что опасается злого языка Лермонтова, предвидя, что он не пощадит её дочерей, она оказалась менее щепетильной в отношении Гагарина. Крупное состояние князя, высокий титул и дядюшка — фаворит императора, парализовали её материнскую предусмотрительность.

Через два месяца после отъезда Лермонтова на Кавказ состоялась помолвка Льва Андреевича Гагарина и Юлии Соломоновны Мартыновой. Александр Тургенев писал Вяземскому по поводу ожидаемой свадьбы: «Здесь говорят о браке Льва Гагарина, который стал москвичом, с одной из Мартыновых, которая прелестна; они составят прекрасную парочку, на несколько недель по крайней мере».

У Мартыновой было три дочери: младшей, Мариин, 12 лет, Юлии — 19, Наталье — 21 год.

Наталья оставалась в старых девах, и чтобы как-то оправдать своё положение, пустила слух, что в неё был влюблён Лермонтов и потому вывел её княжной Мэри в «Герое нашего времени»! Наталья гордилась этим и находила в Мэри сходство с собой. В доказательство показывала подругам красную шаль, говоря, что Лермонтов эту шаль очень любил. Не было ничего легче и заманчивее, как опозитизировать своё положение, сопоставив себя с княжной Мери, тем самым связав своё имя с именем Лермонтова, которое после выхода в свет «Героя нашего времени» приобрело прочную известность во всех московских гостиных.

Кто-то ещё нашёл сходство с собой в «Герое нашего времени», кто-то успел приписать образ Грушницкого Николаю Мартынову, — и все говорили одно: Печорин — это сам Лермонтов. Уже в Петербурге, готовя второе издание романа, Михаилу Юрьевичу пришлось объяснять в предисловии: «Эта книга испытала на себе ещё недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как Герой Нашего Времени; другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых... Старая и жалкая шутка! Но, видно, Русь так уж сотворена, что всё в ней обновляется, кроме подобных нелепостей. Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно, портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии».

В Москве Михаил Юрьевич задержался на две недели, но у Мартыновых не был, иначе глупые слухи о «княжне Мэри» ещё бы усилились. А мог бы прийти, рассказать, что в чеченском походе был с Николаем Мартыновым.

О походе в Малую Чечню и о битве на реке Валерик Мартынов написал стихи, но его взгляд на войну был иным, чем у Лермонтова. Михаил Юрьевич воспринимал происходящее на Кавказе как трагедию, ему было больно видеть казака, сражённого пулей черкеса, и больно смотреть на черкеса, сражённого саблей казака.

И с грустью тайной и сердечной

Я думал: жалкий человек.

Чего он хочет!.. небо ясно,

*Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?*

Мартынову эти сомнения были неведомы. В верноподданническом восторге он рисовал иную картину:

*На всём пути, где мы проходим,
Пылают сакли беглецов.
Застанем скот — его уводим,
Пожива есть для казаков.
Поля засеянные топчем,
Уничтожаем все у них...*

В Ставрополе Михаил Юрьевич узнал от сослуживцев Мартынова, что Николай пережил большие неприятности в полку, нарочно или нечаянно попав в историю с мошенничеством в карточной игре. Мартынов подал в отставку, желая по всей вероятности, прекратить разговоры вокруг него, но дело приняло серьёзный оборот и дошло до государя. (2 июля 1841 года Николай I лично отказал Мартынову в награде — орден св. Владимира 4-й степени с бантом, к которой он был представлен за участие в осенней чеченской экспедиции).

Кавказские товарищи отзывались о Мартынове с неприязнью: «Всё мечтал о чинах, орденах и думал не иначе как дослужиться на Кавказе до генеральского чина».

Находясь в Москве, Михаил Юрьевич не изменил своим привычкам: посещал балы, театры, цыган, встречался с друзьями. Тогда же произошла встреча с Фридрихом Боденштедтом — будущим немецким писателем и переводчиком, — он был в ту пору ещё молод и давал частные уроки.

«...Мы пили уже шампанское.

— А, Михаил Юрьевич! — вдруг вскричали двое-трое из моих собеседников при виде только что вошедшего молодого офицера, который слегка потрепал по плечу Олсуфьева, приветствовал молодого князя словами: «Ну, как поживаешь, умник!», — а остальное общество коротким: «Здравствуйте!»

У вошедшего была гордая, непринуждённая осанка, средний рост и необычайная гибкость движений. Вынимая при входе носовой платок, чтобы обтереть усы, он выронил на паркет бумажник или сигарочницу и при этом нагнулся с такой ловкостью, как будто он был вовсе без костей, хотя, судя по плечам и груди, у него должны были быть довольно широкие кости.

Гладкие, слегка вьющиеся по обеим сторонам волосы оставляли совершенно открытым необыкновенно высокий лоб. Большие, полные мысли глаза, казалось, вовсе не участвовали в насмешливой улыбке, игравшей на красиво очерченных губах молодого офицера. Он был одет не в парадную форму. У него на шее был небрежно повязан чёрный платок; военный сюртук без эполет был не нов и не доверху застёгнут и из-под него виднелось ослепительной свежести тонкое бельё» (Ф. Боденштедт).

В Петербург Михаил Юрьевич прибыл в середине февраля в разгар масленицы, и на другой же день отправился на бал к графине Воронцовой-Дашковой — самый блестящий бал после придворных. Его армейский мундир выделялся среди гвардейских мундиров, великий князь Михаил Павлович косо смотрел на Лермонтова, но Михаил Юрьевич танцевал то с одной, то с другой дамой и, казалось, не замечал

его взглядов. Наконец Воронцовой-Дашковой шепнули, что великий князь недоволен. Она увела Лермонтова во внутренние покои, откуда он смог выйти из дома. Едва удалось ей выгородить его перед князем, взяв всю вину на себя. Но князь всё равно был сердит: не явившись ещё «по началству», опальный поэт примчался на бал, где присутствуют члены царской фамилии!

Этот промах Лермонтова повлёк за собой распоряжение о скорейшем его возвращении в полк. Михаил Юрьевич написал полковому товарищу Александру Бибикову: «Милый Биби, я скоро еду опять к вам, и здесь остаться у меня нет никакой надежды... Итак, не продавай ни кровати, ни сёдел; вероятно, отряд не выступит прежде 20 апреля, а я к тому времени непременно буду. Покупаю для общего нашего обихода Лафатера и Галя и множество других книг».

Михаил Юрьевич больше чем когда-либо хотел теперь выйти в отставку, отдаться целиком литературной деятельности. Мечтал основать новый журнал и говорил об этом с Краевским, не одобряя направления «Отечественных записок»: «Мы должны жить своей, самостоятельной, жизнью, внести своё, самобытное в общечеловеческое. Зачем нам тянуться за Европой и за французским? Я многому научился у азиатов, и мне бы хотелось проникнуть в таинства азиатского мирозерцания, зачатки которого и для самих азиатов, и для нас ещё мало понятны. Но, поверь мне, там, на Востоке, тайник богатых откровений! Мы в своём журнале не будем предлагать обществу ничего переводного, а своё собственное. Я берусь к каждой книжке доставлять что-нибудь оригинальное, не так, как Жуковский, который всё кормит переводами, да ещё не говорит, откуда берёт их».

Усилиями Елизаветы Алексеевны и друзей удалось смягчить гнев великого князя: поэт получил разрешение остаться в Петербурге ещё на некоторое время. В «Отечественных записках» вышло его стихотворение «Родина». Белинский пришёл в восторг: «Аллах-керим, что за вещь: пушкинская, т.е. одна из лучших пушкинских!»

В номере «Отечественных записок» со стихотворением «Родина» Краевский извещал: «Герой нашего времени», соч. М. Ю. Лермонтова, принятый с таким энтузиазмом публикою, теперь уже не существует в книжных лавках: первое издание его всё раскуплено; готовится второе издание, которое скоро должно показаться в свет; первая часть уже отпечатана. Кстати, о самом Лермонтове: он теперь в Петербурге и привёз с Кавказа несколько новых прелестных стихотворений, которые будут напечатаны в «Отечественных записках». Тревоги военной жизни не позволили ему спокойно и вполне предаваться искусству, которое назвало его одним из главнейших жрецов своих; но замыслено им много и всё замышленное превосходно. Русской литературе готовятся от него драгоценные подарки».

Андрей Александрович Краевский заказал художнику Горбунову портрет Михаила Юрьевича — в сюртуке Тенгинского полка. Львиная натура поэта впервые так выразительно проявилась во внешности. Но закончить портрет Горбунов не успел: дежурный генерал Главного штаба Клейнмихель, вызвав Лермонтова, объявил ему предписание в 48 часов покинуть столицу! Бенкендорф не желал иметь в столице «беспокойного» молодого человека, становившегося любимцем публики. «Мир бится новой жизни этих людей, особенного склада их ума и чувства; характеры эти уклоняются от обычного пути: что страшно другим, им не страшно; они иначе любят и иначе ненавидят» (П. А. Висковатов).

Портрет Михаила Юрьевича художник закончил уже после его смерти, передав Краевскому. В том же году решил сделать ещё акварельную копию, но портрет отсырел и испортился. И всё-таки живописец выполнил то, что хотел: акварель Горбунова

стала первым портретом Лермонтова, с которым познакомились читатели; первым и единственным на 22 года!

Перед отъездом Михаил Юрьевич зашёл к двоюродному брату Александра Одоевского — Владимиру Одоевскому. Подарил ему свою картину. Одоевский написал на обороте: «Картина рисована поэтом Лермонтовым и подарена им мне при последнем его отъезде на Кавказ. Она представляет Крестовую гору». Владимир Фёдорович, в свою очередь, подарил ему свою записную книжку: «Поэту Лермонтову даётся сия моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне её сам и всю исписанную. Князь В. Одоевский, 1841, Апреля 13-е, СПбург».

«Мы с ним сделали подробный пересмотр всем бумагам, выбрали несколько как напечатанных уже, так и ещё не изданных и составили связку. „Когда, Бог даст, вернусь, — говорил он, — может, ещё что-нибудь прибавится сюда, и мы хорошенько разберёмся и посмотрим, что надо будет поместить в томик и что выбросить“. Бумаги эти я оставил у себя, остальные же, как ненужный хлам, мы бросили в ящик. Если бы знал, где упадёшь, говорит пословица, соломки бы подостлал; так и в этом случае: никогда не прошу себе, что весь этот хлам не отправил тогда же на кухню под плиту» (Аким Шан-Гирей).

Пушкин тоже говорил: «Многое желал бы я уничтожить, как недостойное даже и моего дарования, каково бы оно ни было. Иное тяготее как упрёк на совести моей... По крайней мере не должен я отвечать за перепечатание грехов моего отрочества, а тем паче за чужие проказы. Стихи, преданные мною забвению, или написанные не для печати или которое простительно мне было написать на девятнадцатом году, но непростительно признать публично в возрасте более зрелом». Он сетовал, что неизвестно откуда берут его юношеские стихотворения, публикуют их, публикуют чужие проказы под его именем, и нет управы на этих господ.

В квартире Карамзиных ещё раз собрались друзья, как за год перед тем, проститься с Михаилом Юрьевичем. По свидетельству многих Лермонтов был чрезвычайно грустен и говорил о близкой смерти. Недели за две до отъезда он с товарищем посетил ворожею Александрой Филипповну, предсказавшую смерть Пушкина от «белого человека». Михаил Юрьевич выслушал то, что гадалка сказала его товарищу, затем спросил о себе: «Буду ли выпущен в отставку и останусь ли в Петербурге?» В ответ услышал, что в Петербурге ему вообще больше не бывать, и что ожидает его отставка «после коей уж ни о чём просить не станешь». Лермонтов засмеялся, тем более, что вечером того же дня получил отсрочку отпуска: «Уж если дают отсрочку за отсрочкой, то и совсем выпустят». Но когда получил приказ, был поражён предсказанием гадалки!

Его печальное настроение стало ещё заметней, когда после прощального ужина он уронил кольцо, взятое у Софьи Николаевны Карамзиной, и, несмотря на поиски всех собравшихся, кольцо найти не удалось.

Михаил Юрьевич тронулся в путь, успев буквально в последний момент отправить записку Андрею Краевскому: «Сделай одолжение, отдай подателю сего письма для меня два билета на „Отечественные записки“. Это для бабушки моей. Будь здоров и счастлив. Твой Лермонтов».

Провожал его только Аким Шан-Гирей. С мальпоста Михаил Юрьевич последний раз с ним расцеловался и передал поклон бабушке. Наружно был весел, шутил. «У меня не было никакого предчувствия, но очень было тяжело на душе. Пока закладывали лошадей, Мишель давал мне различные поручения, но я ничего не слышал. „Извини, Мишель, я ничего не понял“. — „Какой ты ещё дитя, — отвечал он. — Прощай, поцелуй ручки у бабушки“. Это были в жизни его последние слова ко мне».

«17 апреля 1841 г. в 7 часов пополудни, — как значилось в московских ведомостях прибытия и убытия, — прибыл из Петербурга при почтовой карете Тенгинского пешотного полка поручик Лермонтов». Чуть раньше прибыл капитан Нижегородского полка Алексей Столыпин (Монго), которому предписывалось сопроводить Лермонтова в отряд.

Тем часом Елизавета Алексеевна умоляла Софью Карамзину: «Вы милостивы к Мишенке... попросите Василия Андреевича Жуковского напомнить государыне, что вчерашний день прощены: Исаков, Лихачев, граф Апраксин и Челищев; уверена, что и Василий Андреевич извинит меня, что я его беспокою, но сердце моё растерзано...»

В Москве Михаил Юрьевич встретился с Василием Красовым, который, по словам Чернышевского, «был едва ли не лучшим из наших второстепенных поэтов в эпоху Кольцова и Лермонтова». Стихи его читались с увлечением, цитировались в статьях, ставились эпиграфами к повестям, перепечатывались в хрестоматиях. Сын протоиерея, семинарист, поступивший затем в Московский университет, Красов притягивал к себе образованностью и тёплым сердцем.

«Я не видал Лермонтова десять лет — и как он изменился! Целый вечер я не сводил с него глаз. Какое энергичное, простое, львиное лицо. Он был грустен, и когда уходил из собрания в своём армейском мундире и с кавказским кивером, у меня сжалось сердце — так мне жаль его было».

Последний, с кем прощался в Москве Михаил Юрьевич, был Юрий Самарин: «Я никогда не забуду нашего последнего свидания, за полчаса до его отъезда. Прощаясь со мной, он оставил мне стихи, его последнее творение... Он говорил мне о своей будущности, о своих литературных проектах, и среди всего этого он проронил о своей скорой кончине несколько слов, которые я принял за обычную шутку с его стороны. Я был последний, который пожал ему руку в Москве».

Лермонтов нагнал Монго возле Тулы, их путь был на левый фланг Кавказской линии. Рассудительный Монго сдерживал безоглядные порывы Лермонтова, и Михаил Юрьевич ворчал: «Ты — вторая бабушка!» В Туле встретились с Александром Меринским, товарищем по юнкерской школе, отобедали у него. Завернули в Мценск к однополчанину Михаилу Глебову, который, узнав, что они едут на Кавказ, выхлопотал для них негласное разрешение погостить у него несколько дней. На реке Валерик Михаил Глебов был ранен в ключицу, долго лечился, и теперь собирался в Пятигорск на воды.

Добравшись до Ставрополя, Лермонтов и Столыпин неожиданно встретили корнета Петра Магденко, ехавшего в Пятигорск. Магденко стал уговаривать их ехать вместе, расписывая прелести отдыха. Лермонтов загорелся:

— Послушай, Столыпин, а ведь теперь в Пятигорске хорошо, там Верзилины, — он назвал ещё несколько фамилий. — Поедем в Пятигорск?

В результате отправились вместе, несмотря на проливной дождь.

«Промокшие до костей, приехали мы в Пятигорск и остановились на бульваре в гостинице, которую содержал армянин Найтаки. Минут через двадцать в мой номер явились Столыпин и Лермонтов, уже переодетыми, в белом как снег белье и халатах. Лермонтов был в шёлковом темно-зелёном с узорами халате, опоясанный толстым шнурком с золотыми желудями на концах. Потирая руки от удовольствия, Лермонтов сказал Столыпину: „Ведь и Мартышка, Мартышка здесь. Я сказал Найтаки, чтобы послали за ним“» (П. Магденко).

Верзилины, о которых говорил Лермонтов Алексею Столыпину, имели собственный дом в Пятигорске, а во дворе дома небольшой флигель, куда пускали приезжих. Сейчас во флигеле жил Николай Мартынов. «Он носил азиатский костюм, за поясом пистолет, через плечо на земле плеть, мужицкую причёску и французские бакенбарды с козлиным подбородком» (К. К. Любомиров).

Можно представить изумление Лермонтова и Столыпина, когда Мартынов пришёл к ним в гостиницу. Лермонтов, вероятно, хохотал до слёз, и наверно, спросил, с чего вдруг Мартынов так вырядился? Мартынов же чувствовал перед ним своё превосходство: Лермонтов всего лишь пехотный поручик, а он, Мартынов, вышел в отставку майором линейного казачьего полка. И всё-таки друзья были рады встрече.

На другой день Лермонтов и Столыпин призвали писаря комендантского управления, который составил необходимые рапорты. Комендант велел им пройти медицинскую комиссию, врачи обнаружили у них лихорадку и ревматизм — обычные болезни кавказских военных, а так как госпиталь был переполнен, то предложили им ехать в Георгиевск. Столыпин и Лермонтов тут же наврали, что выпили уже по 29 стаканов минеральной воды и не намерены прекращать начатое лечение. Комендант разрешил им остаться.

Что представлял собой Пятигорск в ту пору, рассказывает в своих «Записках декабриста» Н. И. Лорер:

«В то время съезды на Кавказские воды были многочисленны. Кого, бывало, не встретишь на водах! Какая смесь одежд, лиц, состояний! Со всех концов огромной России собираются больные к источникам в надежде — и большею частью справедливой — исцеления. Тут же толпятся и здоровые, приехавшие развлечься и поиграть в картишки».

Чиновник Пятигорской военной прокуратуры Василий Иванович Чилиев, узнав, что Лермонтов и Столыпин подыскивают жильё, предложил им свой флигель, объяснив, что дом уже занят князем Александром Васильчиковым и Сергеем Трубецким. Поехали, посмотрели. Обыкновенная мазанка под соломенной крышей, четыре небольшие комнаты и открытая веранда, которую здесь называли балконом. Лермонтов встал на веранде; через забор — дворик Верзилиных, где квартировал Мартынов.

Соседство Мартынова, Васильчикова и Трубецкого более чем устраивало, и молодые люди дали Чилиеву задаток. В доме Михаил Юрьевич выбрал для себя две комнаты, оклеенные простой бумагой, окрашенной домашним способом. Обстановка тоже была простая, но зато из окна кабинета был виден сад. Две другие комнаты занял Монго.

Как оказалось, в соседстве жил Александр Арнольди, с которым Лермонтов в 1838 году подружился в «сумасшедшем доме». Он был моложе Лермонтова на 3 года и приехал в Пятигорск с мачехой и сестрой.

«На дворе дома, нами занимаемого, во флигеле поселился Тиран, по фасу к Машуку подле нас жил Лермонтов со Столыпинам, а за ними Глебов с Мартыновым. Лермонтов, который при возникающей уже своей славе рисовался — и сначала сделал вид, будто меня не узнаёт, но потом сам первый бросился ко мне на грудь и нежно меня обнял и облобызал. Раз или два в неделю мы собирались в залу ресторации Найтаки и плясали до упаду часов до двенадцати ночи, что, однако, было исключением из обычной водяной жизни, потому что обыкновенно с наступлением свежих сумерек весь Пятигорск замирал и запирался по домам.

Я часто забегал к соседу моему Лермонтову. Однажды, войдя неожиданно к нему в комнату, я застал его лежащим на постели и что-то рассматривающим в сообществе Сергея Трубецкого и что они хотели, видимо, от меня скрыть. Поздно заметив, что

я пришёл не вовремя, я хотел было уйти, но так как Лермонтов тогда же сказал: «Ну, этот ничего», — то и остался. Шалуны товарищи показали мне целую тетрадь карикатур на Мартынова, которые сообщила начертали и раскрасили. Это была целая история в лицах, вроде французских карикатур, где красавец, бывший когда-то кавалергард, Мартынов был изображён в самом смешном виде» (А. И. Арнольди).

Трубецкой был по духу ближе всех к Лермонтову. Неугомонный проказа, он к 25 годам успел нажить себе множество неприятностей. Будучи крестником императрицы Марии Фёдоровны и великого князя Николая Павловича (впоследствии императора), с отрочества был записан в камер-пажи. На восемнадцатом году стал корнетом Кавалергардского полка, где с первых же дней подвергся взысканиям за курение трубки перед фронтом и отлучки с дежурства. Одна из его проказ, совершённая вместе с ротмистром Кротовым, была очень серьёзной. Как записано в штрафном журнале полка от 14 августа 1834 года, «... 11 числа сего месяца, узнав, что графиня Бобринская с гостями должны были гулять по Большой Неве и Чёрной речке, вознамерились в шутку ехать к ним навстречу с зажжёнными факелами и пустым гробом...»

Отсидели за это на гауптвахте, но не успокоились. Наконец, находясь во дворце на дежурстве, Трубецкой соблазнил фрейлину Мусину-Пушкину, которая только того и ждала, так как была беременна от Николая Павловича. Император приказал Трубецкому обвенчаться с ней, тот вынужден был подчиниться, но после рождения дочери сразу расстался с женой. Николай не простил ему этого: Сергей Трубецкой был переведён на Кавказ в Гребенский казачий полк. В 1840 году вместе с Лермонтовым участвовал в сражении на реке Валерик, где его ранило пулей в грудь. Получил отпуск для поездки в Петербург на операцию — извлечь пулю; заболел по дороге, попросил о продлении отпуска, но, узнав, что отец его при смерти, поехал, не дождавшись ответа.

Николай I счёл это нарушением дисциплины. Имя Сергея Трубецкого было вычеркнуто из наградных списков, а сам он посажен под домашний арест. Затем отправлен опять на Кавказ, несмотря на тяжёлую рану. Очередным проступком Трубецкого стал самовольный приезд в Пятигорск, где состоялась радостная встреча с Лермонтовым. Михаил Юрьевич до слёз переживал за него, он искренне любил Сергея: храбр, весел, блистателен во всех отношениях, как по наружности так и по уму, тёплое, доброе сердце и полнейшее бескорыстие. Ко всему они с Лермонтовым были в родстве: на сестре Трубецкого был женат один из Столыпиных.

* * *

Лермонтов, кроме того что весело проводил время и принимал ванны, занимался литературным трудом. Окно его кабинета выходило в сад, и он работал при открытом окне. Он замыслил трилогию — три романа из трёх эпох жизни русского общества. Первый — о Пугачёве и суворовских походах, второй — период Отечественной войны 1812 года: показать в нём «действие в сердце России и под Парижем» с развязкой в Вене. Третий мыслился как изображение эпохи после восстания декабристов. В нём Лермонтов хотел описать события из кавказской жизни, с Тифлисом при Ермолове, его усмирении Кавказа, персидской войной, среди которой погиб в Тегеране Грибоедов. На осуществление такого грандиозного замысла необходима была отставка, сведения Государственного архива и многочисленные поездки.

«Образ жизни Михаила Юрьевича в Пятигорске был самый обыкновенный и простой. На конюшне он держал двух собственных верховых лошадей. Штат прислуги его состоял из привезённых с собой из Петербурга четырёх человек, из

коих двое было крепостных: камердинер Иван Абрамович Соколов, конюх Иван Вертюков, и двое наёмных — помощник камердинера и повар. Дом его был открыт для друзей и знакомых, и если кто к нему обращался с просьбой о помощи или одолжении, никогда и никому не отказывал, стараясь сделать всё, что только мог. Заведовал хозяйством, людьми и лошадьми Столыпин. Чаще всего у Лермонтова и Монго бывали Мартынов, Глебов и князь Васильчиков. Остроты, шутки смех не прекращались. Вставал Лермонтов неодинаково, иногда рано, иногда спал часов до 9-ти и даже более. Но это случалось редко. В первом случае, тотчас, как встанет, уходил пить воды или брать ванны, и после пил чай; во втором же — прямо с постели садился за чай, а потом уходил из дому. Около двух часов возвращался домой обедать, и почти всегда в обществе друзей-приятелей. Поесть любил хорошо, но стол был не роскошный, а русский, простой. На обед готовилось четыре-пять блюд по заказу Столыпина, мороженое же, до которого Лермонтов был большой охотник, ягоды или фрукты подавались каждодневно. Вин, водок и закусок всегда имелся хороший запас. Около шести часов подавался чай, и затем все уходили. Вечер, по обыкновению, посвящался прогулкам, танцам, любезничанью с дамами или игре в карты (В. И. Чилиев).

Лермонтов называл Пятигорск кавказским Монако.

«Лермонтов тоже играл, но редко, с соблюдением известного расчёта и выше определённой для проигрыша нормы не зарывался. Иногда по утрам он уезжал на своём лихом Черкесе за город, уезжал рано и большей частью вдруг, не предупредив заранее никого: встанет, велит оседлать лошадь и умчится один. Он любил бешеную скачку, но при этом им руководила не одна только любительская страсть к езде, он хотел выработать из себя лихого наездника, в чём неоспоримо и преуспел, так как все товарищи его, кавалеристы, знатоки верховой езды, признавали и высоко ценили в нём столь необходимые по тогдашнему времени качества. Знакомые дамы приходили в восторг от его удалости и неустрашимости, когда он, сопровождая их на прогулках в кавалькадах, показывал им „высшую школу“ наездничества, а верзилинские грации (дочери П. С. Верзилина, наказного атамана Кавказского линейного войска в Пятигорске) не раз даже рукоплескали, когда она, проезжая мимо перед их окнами, ставил на дыбы своего Черкеса и заставлял его чуть ли не плясать лезгинку» (П. К. Мартынов).

«Характер Лермонтова, — вспоминал Василий Иванович Чилиев, — был характер джентльмена, сознающего своё умственное превосходство; он был эгоистичен, сух, гибок и блестящ, как полоса полированной стали, подчас весел, непринуждён и остроумен, подчас антипатичен, холоден и едок. Но все эти достоинства, или, скорее, недостатки, облекались в национальную русскую форму и поражали своей блестящей своеобразностью».

Вечерами армейская молодёжь часто собиралась в доме Верзилиных, где устраивались танцы. Лермонтов пользовался успехом у дам, хоть и не был красавцем. «Но и не был так безобразен, каким рисуют его и каков он на памятнике, — говорил Аким Шан-Гирей. — Скулы там слишком уж велики, нос слишком неправилен; волосы он носил летом коротко остриженными, роста был среднего, говорил приятным грудным голосом, но самым привлекательным в нём были глаза — большие, прекрасные, выразительные».

Глава семьи, генерал Верзилин, имел от первого брака дочь Аграфену; вторая его жена имела от первого брака с Клингенбергом дочь Эмилию — «бело-розовую куклу», как называли её в Пятигорске. В 1841 году Эмили было 25 лет. Совместная дочь Верзилиных — Надежда была ещё юной.

Хлебосольность, радушие и три красивые, весёлые дочери привлекали в верзилинский дом молодых людей. Николай Мартынов ухаживал за пятнадцатилетней Надей, и Лермонтов, дурачась, дразнил юную Наденьку, приписывая ей кокетство с приехавшим на лечение Глебовым.

Михаил Глебов жил во флигеле Верзилиных вместе с Мартыновым, так что друзья, отделённые друг от друга только забором, постоянно встречались у Лермонтова и Столыпина. Мартынов всё так же носил свой бешмет и кинжал, а порой два кинжала, за что Лермонтов прозвал его «Два горца».

Михаил Юрьевич отправил для альманаха «Наши: списанные с природы русскими», — статью «Кавказец», в которой дал точное определение настоящему кавказцу, то есть человеку, прослужившему на Кавказе много лет. «Кавказец есть существо полурусское-полуазиатское; склонность к обычаям восточным берёт над ним перевес, но он стыдится её при посторонних, то есть при заезжих из России. Настоящих кавказцев вы находите на Линии; статские кавказцы редки; они большею частию неловкое подражание, и если вы между ними встретите *настоящего*, то разве только между полковых медиков».

Монго Столыпин не бывал у Верзилиных, он волочил за аристократками. Но Лермонтов, Лев Пушкин и большинство офицеров гораздо свободнее чувствовали себя в доме Верзилиных. Молодёжь наперебой ухаживала за Эмилией. Поклонниками Нади были Мартынов и Лисаневич, а Груша собиралась замуж за пристава Дикова. По этому поводу Лермонтов написал шуточное шестистишие:

*Пред девицей Эмили
Молодёжь лежит в пыли,
У девицы же Надин
Был поклонник не один;
А у Груши целый век
Был лишь дикий человек.*

«Как сейчас вижу его, — вспоминала Эмилия, — среднего роста, коротко остриженный, большие красивые глаза; любил повеселиться, посмеяться, поострить, затевал кавалькады, распорядился на пикниках, дирижировал танцами и сам очень много танцевал. А бывало, сестра заиграет на пианино, он подсядет к ней, опустит голову и сидит неподвижно. Зато как разойдётся да пустится бегать в кошки-мышки, так бывало нет удержу... Бегали в горелки, играли в серсо; потом всё это им изображалось в карикатурах, что нас смешило. Поймает меня во дворе за кучей камней (они и сейчас лежат там) и ведёт торжественно сюда. Характера он был неровного, капризного: то услужлив и любезен, то рассеян и невнимателен».

Василий Иванович Чиляев с большим интересом следивший за жизнью своих постояльцев, впоследствии на вопрос биографа Лермонтова, ухаживал ли Михаил Юрьевич за Эмилией, отвечал: «Серьёзно или так, от нечего делать, но ухаживал. В каком положении находились его сердечные дела — покрыто мраком неизвестности».

Кроме Верзилиных, ещё один дом привлекал молодёжь: дом генеральши Мерлини, защитницы Кисловодска от черкесского набега, случившегося в отсутствие её мужа, коменданта кисловодской крепости. Ей пришлось самой распорядиться действиями артиллерии, и она повела дело так, что горцы рассеялись прежде, чем прибыла казачья помощь. За этот подвиг государь прислал ей бриллиантовый браслет и георгиевский крест. Когда молодёжь устраивала кавалькады, Катерина Ивановна садилась на

казацкую лошадь с мужским седлом и гарцевала, как подобает георгиевскому кавалеру. Обычноვნено отправлялись в Шотландку, немецкую колонию в семи верстах от Пятигорска, где немка Анна Ивановна встречала гостей с распростёртыми объятиями. У неё был небольшой ресторан и две симпатичные прислужницы — Милле и Гретхен, составлявшие погибель для офицеров.

Своим похождениям Лермонтов, Трубецкой, Раевский, Лев Пушкин и другие вели отчёт. Выдающиеся эпизоды вносились в «альбом приключений», где можно было увидеть всё: и кавалькады, и пикники, и всех действующих лиц. Об этом альбоме, находившемся потом в бумагах Глебова и пропавшем из поля зрения после его гибели, вспоминали многие. На одном из рисунков Васильчиков был изображён тощим и длинным, Лермонтов — маленьким и сутулым, как кошка вцепившимся в огромного коня Монго-Столыпина, а впереди всех красовался Мартынов в черкеске, с длинным кинжалом. Всё это гарцевало перед открытым окном, вероятно дома Верзилиных, так как в окне были нарисованы три женские головки.

Мартынову в этом альбоме доставалось больше всех. На одном из рисунков изображалась стычка с горцами, где Мартынов, размахивая кинжалом, восседал на лошади, повернувшей вспять. На другом — целая эпопея: Мартынов гордо въезжает в Пятигорск, а затем присев перед красавицей так, как садятся на очко, держась обеими руками за ручку кинжала, изъясняется ей в любви.

Лермонтов не раз по-приятельски советовал Мартынову снять свой шутовской наряд. В «Герое нашего времени» Печорин — сильный, глубокий человек, не прощает Грушницкому несовершенства и слабости и даже стремится поставить его в такое положение, где бы эти качества выявились до конца, но... делает это с надеждой, что человек одумается, перестанет быть посмешищем, повернёт в лучшую сторону.

Увы, Мартынов не понял Лермонтова, он гордился своим одеянием, показывая тем самым, что он настоящий кавказец. Он словно не замечал насмешливых взглядов, какими окидывали его боевые офицеры, но замечал восхищённые взгляды дам — им он казался красавцем: осыная талия, чекмень с побрякушками... Он заказал художнику князю Гагарину свой портрет в полный рост, и Григорий Григорьевич изобразил его в лаковых штиблетах, безупречных брюках, в черкесском бешмете с газырями и украшениями, на поясе сабля, кинжал, а на голове огромная баранья шапка.

С. Н. Филиппов в статье «Лермонтов на Кавказских водах» (журнал «Русская мысль», декабрь 1890 г.), так описывает Мартынова: «Тогда у нас на водах он был первым франтом. Каждый день носил переменные черкески из самого дорогого сукна и все разных цветов: белая, чёрная, серая и к ним шёлковые архалуки такие же или ещё синие. Папаха самого лучшего каракуля, чёрная или белая. И всегда все это было разное, — сегодня не надевал того, что носил вчера. К такому костюму он привешивал на серебряном поясе длинный чеченский кинжал без всяких украшений, опускавшийся ниже колен, а рукава черкески засучивал выше локтя. Это настолько казалось оригинальным, что обращало на себя общее внимание: точно он готовился каждую минуту схватиться с кем-нибудь. Мартынов пользовался большим вниманием женского пола. Про Лермонтова я этого не скажу. Его скорее боялись, т.е. его острого языка, насмешек, каламбуров».

Любуясь собой, Мартынов добился того, что над ним уже чуть не в открытую стали смеяться. Он что-то почувствовал, и, будучи мнительным, решил, что общество, вероятно, прознало о полковой неприятности, из-за которой он вышел в отставку. Ещё год назад он заявлял, что дослужится до генерала, и вдруг такой поворот! А тут ещё Лермонтов со своими шуточками.

Высказать Лермонтову своё недовольство Мартынов, очевидно, боялся: с Лермонтовым что-то происходило, он иногда за весь день не говорил двух слов, взгляд его стал тяжёлым, его присутствие на вечерах у Верзилиных скотывало людей, никто не смел смотреть ему в глаза, словно сквозь них, изнутри, смотрел не Лермонтов, а кто-то — всевластный и страшный для человека. Он стал по ночам гулять в одиночку, и однажды сказал присоединившемуся к нему товарищу по юнкерской школе Павлу Гвоздеву: «Чувствую, что мне очень мало осталось жить...» Ночь была тихая, тёплая. Они шли по бульвару, Лермонтов был грустен.

*В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чём?*

А в это время В. И. Красов писал Андрею Краевскому:

«Не возвращён ли он? Вы бы засмеялись, если б узнали, отчего я особенно спрашиваю про его возвращение. Назад тому месяц с небольшим я две ночи сряду видел его во сне — в первый раз в жизни. В первый раз он отдал мне свой шлафрок какого-то огненного цвета, и я в нём целую ночь расхаживал по незнакомым огромным покоям; в другой раз я что-то болтал ему про свои любовные шашни, и он с грустной улыбкой и бледный как смерть, качал головой. Проснувшись, я был уверен, что он возвращён. И я почти был уверен, что он проехал уже мимо нас, потому что я живу на большой дороге от юга».

Товарищ Лермонтова Александр Чарыков, встретившись с ним по пути в Железноводск, заметил, что с ним что-то неладно: «Я шёл в гору по улице совсем ещё тогда глухой, которая вела к Железноводску, а он в то же время спускался по противоположной стороне с толстой суковатой палкой... Лицо его показалось мне чрезвычайно мрачным; быть может, он предчувствовал тогда свой близкий жребий».

Приступы мрачности Лермонтов всё же преодолел: из Тифлиса приехал Михаил Дмитриевский, знакомый с семьёй Чаччавадзе; слушая его, Лермонтов как бы заново переживал встречи с дорогими ему людьми. Дмитриевский воспевал какие-то карие глаза, и Лермонтов говорил: «После твоих стихов разлюбишь поневоле чёрные и голубые очи, и полюбишь карие глаза».

Гвардейская молодёжь задумала дать бал пятигорской публике. Составилась подписка, и затея приняла громадные размеры. Праздник состоялся 8 июля на площадке у грота. Стены его обтянули персидскими коврами, свод — разноцветными шалами, соединив их в центральный узел, прикрытый зеркалом, повесили импровизированные люстры из обручей и верёвок, обвитых живыми цветами и зеленью; снаружи, на деревьях, развесили свыше двух тысяч разноцветных фонариков; музыканты разместились над гротом на специальной площадке.

К восьми часам приглашённые собрались, и танцы быстро следовали один за другим. Лермонтов необыкновенно много танцевал, да и всё общество было особенно весело. Красное сукно длинной лентой стелилось до палатки, назначенной служить уборной для дам. Уборную обставили настолько роскошно, что дамы ходили туда просто полюбоваться. Погода стояла чудесная, тихая, с темно-синего неба светили звезды.

Александр Арнольди пришёл вместе с мачехой и сестрой. Был очень доволен, что он и друзья так замечательно всё устроили. «Наш бал сошёл великолепно, все веселились от чистого сердца, и Лермонтов много ухаживал за Идой Мусиной-Пушкиной».

Бал продолжался до утра. Семейство Арнольди удалилось раньше, а остальные расходились уже при утреннем свете. Лермонтов провожал Екатерину Быховец, которая всё восклицала: «Как же я весело провела время!» Екатерина приходилась ему дальней родственницей, и он называл её прекрасной кузиной. Она только на днях приехала в Пятигорск, и через Лермонтова познакомилась с его компанией. Он и Мартынова ей представил, рекомендуя как товарища и друга. Екатерина имела внешнюю схожесть с Варенькой Лопухиной, поэтому Михаил Юрьевич не скрыл от неё:

*Нет, не тебя так пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье;
Люблю в тебе я прошлое страданье
И молодость погибшую мою.*

Михаил Юрьевич был рад, что пикник удался, ведь это он был инициатором и руководителем затеи. Ни с одним из балов нельзя было это сравнить, ни с одним маскарадом. Живая природа, южное небо со звёздным богатством, тысячи разноцветных огней и море цветов.

* * *

10 июля заканчивался для Лермонтова и Столыпина срок лечения на водах. Командант вызвал к себе Монго, велел ему вместе с Лермонтовым отправляться в отряд. Столыпин стал уверять, что они и сами того желают, но по совету врачей купили билеты на пользование железными ваннами. Разрешение остаться было получено.

В тот день приехал профессор Московского университета, известный врач и мудрец Иустин Евдокимович Дядьковский, привёз Лермонтову гостинцы от бабушки. Незадолго до его приезда Михаил Юрьевич получил сразу три письма от неё, отправленные на Ставрополь. Ответил, что находится в Пятигорске, попросил купить и прислать полное собрание сочинений Шекспира, и выразил надежду на возможность отставки: «То, что вы мне пишете о словах господина Клейнмихеля, я полагаю, ещё не значит, что мне откажут отставку, если я подам; он только просто не советует; а чего мне здесь ещё ждать?»

«Иустин Евдокимович, — вспоминал Николай Молчанов, — сам пошёл к Лермонтову и, не застав его дома, передал слуге его о себе и чтоб Михаил Юрьевич пришёл к нему в дом Христофоровых. В тот вечер мы видели Лермонтова. Он пришёл к нам и всё просил прощения, что не брит. Человек молодой, бойкий, умом острёр. Беседа его с Иустином Евдокимовичем зашла далеко за полночь. Долго беседовали они о Байроне, Англии, о Беконе. Лермонтов с жадностью расспрашивал о московских знакомых. По уходу его Иустин Евдокимович много раз повторял: „Что за умница!“ На другой день поутру Лермонтов пришёл звать на вечер Иустина Евдокимовича в дом Верзилиных: жена генерала Петра Семёновича Верзилина велела звать его к себе на чай. (Сам Пётр Семёнович был в Варшаве. — Н. Б.) Иустин Евдокимович отговаривался болезнью, но вечером Лермонтов его увёз и поздно вечером привёз обратно. Опять он восторгался Лермонтовым: „Что за человек! Экий умница, а стихи его — музыка, но тоскующая“». (Дуэль и смерть Лермонтова так потрясли Дядьковского, что он прожил только шесть дней).

По воскресеньям в Пятигорске бывали собрания в ресторане гостиницы Найтаки, где молодёжь танцевала и оживлённо проводила время. 13 июля компания

Лермонтова решила не ходить в ресторан, а провести вечер у Верзилиных. Мартынов уже оставил юную Наденьку, переключившись на Эмилию, и она отдавала ему предпочтение перед другими. «Он хоть и глуп, но красавец, — говорила она. — Хоть он и фат, и лстыив в разговоре, но очень красив». Лермонтов не понимал, какой «красотой» мог привлекать её Мартынов, дразнил Эмилию и называл Мартынова горцем с большим кинжалом.

Некоторые лермонтоведы утверждают, что Михаил Юрьевич ревновал Эмилию, но, судя по тому, что приехала Ида Мусина-Пушкина, петербургская его пассия, предпочтение Эмилии не могло его задевать. Жениться на ней он не собирался, да и вообще не думал жениться, так как не знал, дадут ли отставку или придётся несколько лет служить на Кавказе. Уверения, что он из мести написал:

За девицей Emilie

Молодёжь как кобели.

У девицы же Nadine

Был их тоже не один; — совершенно напрасны, поскольку девице Надин только-только исполнилось пятнадцать лет, а сочинять клевету Лермонтов не был способен.

Но то, что подтрунивал над Эмилией за её благосклонность к Мартынову, это так. «Он находил особенное удовольствие дразнить меня. Я отделялась, как могла, то шуткою, то молчанием, ему же крепко хотелось меня рассердить; я долго не поддавалась, наконец мне это надоело, и я однажды сказала Лермонтову, что не буду с ним говорить и прошу его оставить меня в покое».

Надо сказать, что впервые Лермонтов повстречался с ней ещё в детстве, когда бабушка привезла его на воды. «Я не знаю, кто была она, откуда, и поныне мне неловко как-то спросить об этом... Белокурые волосы, голубые глаза... нет; с тех пор я ничего подобного не видел или это мне кажется, потому что я никогда так не любил, как в тот раз... И так рано! В десять лет!» Это была Эмилия, но Лермонтов так и не узнал об этом. Да и она бы не вспомнила, если бы через несколько лет не прочитала его дневниковые записи: муж её, Аким Шан-Гирей, бережно хранил литературное наследство Лермонтова. Уже в XX веке дочь Эмилии, Евгения Акимовна, призналась лермонтоведам: «Эта девочка была моя мать, она помнит, как бабушка ходила в дом Хастатовых и водила её играть с девочками, и мальчик-брюнет вбегал в комнату, конфузился и опять убежал, и девочки называли его Мишель».

13 июля, как намечалось, молодёжь собралась в доме Верзилиных.

«Я не говорила и не танцевала с Лермонтовым, потому что в этот вечер он продолжал свои поддразнивания. Тогда, переменив тон насмешки, он сказал мне:

— Мадемуазель Эмилия, прошу вас на один только тур вальса, последний раз.

— Ну уж так и быть, в последний раз пойдёмте.

Михаил Юрьевич дал слово не сердить меня больше, и мы, провальсировав, уселись мирно разговаривать. К нам присоединился Л. С. Пушкин, который тоже отличался злоязычием, и принялись они вдвоём острить свой язык наперебой. Несмотря на мои предостережения, удержать их было трудно. Ничего злого особенно не говорили, но смешного много; но вот увидели Мартынова, разговаривающего очень любезно с младшей сестрой моей Надеждой, стоя у рояля, на котором играл князь Сергей Трубецкой. Не выдержал Лермонтов и начал острить на его счёт, называя его «горец с большим кинжалом». Надо же было так случиться, что когда Трубецкой ударил последний аккорд, слово «кинжал» раздалось по всей зале. Мартынов побледнел, закусил губы, глаза его сверкнули гневом; он подошёл к нам и голосом весьма сдержанным сказал Лермонтову:

— Сколько раз просил я вас оставить свои шутки при дамах! — и так быстро вернулся и отошёл прочь, что не дал и опомниться Лермонтову, а на моё замечание: «Язык мой — враг мой», Михаил Юрьевич отвечал спокойно: «Это ничего, завтра мы будем добрыми друзьями».

Танцы продолжались, и я думала, что тем кончилась вся ссора. На другой день Лермонтов и Столыпин должны были ехать в Железноводск. После уж рассказывали мне, что когда выходили от нас, то в передней же Мартынов повторил свою фразу, на что Лермонтов спросил: «Что ж, на дуэль, что ли, вызовешь меня за это?» Мартынов ответил решительно: «Да», — и тут же назначил день».

Во флигеле Верзилиных вместе с Глебовым и Мартыновым жил Николай Раевский. За отличие в штурме крепости Ахульго, где находился Шамиль, он был награждён орденом святого Владимира 4 степени, произведён в поручики, участвовал в Чеченском походе 1840 года, но больше служить не захотел. Раевскому было 22 года, Глебову — 21. После ссоры в верзилинском доме, они стали думать, как бы собраться всем вместе и помирить недавних друзей. «Но ни тогда, ни после, до самой той минуты, когда мы узнали, что всё уже кончено, нам и в голову не приходили какие бы то ни было серьёзные опасения. Думали, так себе, повздорили приятели, а после и помирятся. Только хотелось бы, чтоб поскорее всё это кончилось, потому что мешала их ссора нашим увеселениям. На другое утро собрались мы в нашей с Глебовым комнате. Пришёл и поручик Руфин Иванович Дорохов, знаменитый тем, что в 14-ти дуэлях участие принимал. Как человек опытный, он дал совет:

— В таких случаях принято противников разлучать на некоторое время. Раздражение пройдёт, а там, Бог даст, и сами помирятся.

Мы согласились. Столыпин сейчас же пошёл в рабочую комнату, где Михаил Юрьевич чем-то был занят. Говорили они довольно долго, а мы сидели и ждали.

Столыпин нам после рассказывал, как было дело. Он, как только вошёл к нему, стал его уговаривать и сказал, что мы бы все рады были, кабы он уехал.

— Мало тебе и без того неприятностей? Только что эта история с Барантом, а тут опять. Уезжай ты, сделай милости!

Михаил Юрьевич не рассердился.

— Изволь, — говорит, — уеду, и всё сделаю, как вы хотите.

И сказал он тут же, что в случае дуэли, Мартынов пускай делает, как знает, а сам он целить не станет. «Рука, — сказал, — на этого дурака не поднимется».

Как Столыпин рассказал нам всё это, мы обрадовались. Велели лошадь седлать, и уехал наш Михаил Юрьевич в Железноводск. Устроили мы это дело, да и подумали, что конец, — и с Мартыновым всякие предосторожности оставили. Ан и вышло, что маху дали. Пошли к нему, стали его убеждать, а он сидит угрюмый.

— Нет, — говорит, — господа, я не шучу. Я много раз его просил прежде, как друга; а теперь уж от дуэли не откажусь.

Мы, как ни старались, ничего не помогло. Так и разошлись. Предали всё в руки времени. Авань-де он это так сгоряча, а после, может, и обойдётся» (Н. П. Раевский).

Уезжая в Железноводск, Лермонтов по пути заглянул к Екатерине Быховец, приглашая ехать вместе с ним, но она обещала прибыть на другой день. Возле дома, где квартировала семья Арнольди, Михаил Юрьевич увидел Александра, что-то рисующего перед открытым окном. Остановился на минуту. Арнольди сказал, что его мачеха и сестра перебрались в Железноводск, и завтра он собирается их навестить.

В отсутствие Лермонтова друга, по словам Раевского, старались склонить Мартынова к мировой. Однако Мартынов уже знал, что Лермонтов не будет в него

стрелять. Знал и то, что если убьёт поэта, наказание будет не строгим: государь давно недоволен Лермонтовым.

«Мартынов развеселился, о прошлом ни слова не поминает; стали подумывать о том, как бы изгнанника нашего из Железноводска вернуть: скучно ему там одному. Собрались мы опять. И Манзей тут был, и Руфин Дорохов, и князь Васильчиков. А тут и Мартынов жалует. Без всяких предисловий нас так и огорошил:

— Что ж, господа, скоро ли ожидается благополучное возвращение из путешествия? Я уж давно дожидаюсь. Можно бы понять, что я не шучу!

Тут кто-то из нас и спросил:

— Кто же у вас секундантом будет?

— Да вот, — отвечает, — я был бы очень благодарен князю Васильчикову, если б он согласился сделать мне эту честь! — И вышел.

А Дорохов опять своё слово вставил:

— Можно, господа, так устроить, чтобы секунданты постановили какие угодно условия.

Мы и порешили, чтобы они дрались в 30-ти шагах и чтобы Михаил Юрьевич стоял выше, чем Мартынов. Вверх труднее целить».

О тридцати шагах Раевский написал уже много лет спустя, прочитав в прессе воспоминания Васильчикова, где тот нагло лжёт, указывая на тридцать шагов. Секунданты назначили шесть шагов, и противники могли стрелять трижды. Когда Мартынов был уже под следствием, Глебов с Васильчиковым написали ему: «Покамест не упоминай об условии трёх выстрелов; если позже будет о том именно запрос, тогда делать нечего, надо будет сказать всю правду». Инициатором убийства был Васильчиков, и это подтверждает сам Раевский: «Князь Васильчиков сказал Мартынову, что будет его секундантом с условием, чтобы никаких возражений ни со стороны его самого, ни со стороны его противника не было. Посланные так и сказали Михаилу Юрьевичу. Он ответил, что согласен, повторил только, что целить не будет, на воздух выстрелит, и тут же попросил Глебова быть у него секундантом».

Васильчиков знал, что гордость не позволит Лермонтову отклонить условия дуэли.

Рано утром 15 июля Екатерина Быховец, как и обещала Лермонтову, в компании Льва Пушкина, Дмитревского и ещё нескольких человек отправилась в Железноводск. «На половине дороги в колонии мы пили кофе и завтракали. Как приехали на Железные, Лермонтов сейчас прибежал; мы пошли в рощу и все там гуляли. Я всё с ним ходила под руку. Он при всех был весел, шутил, а когда мы были вдвоём, он ужасно грустил, говорил мне так, что сейчас можно догадаться, но мне в голову не приходила дуэль. Я знала причину его грусти и думала, что всё та же, — он был страстно влюблён в Варвару Александровну Бахметеву; она ему была кузина; он и меня оттого любил, что находил в нас сходство, и об ней его любимый разговор был. Я уговаривала его, утешала, как могла, и с полными глазами слёз он меня благодарил, что я приехала. В колонии обедали. Уезжавши, он целует несколько раз мою руку и говорит:

— *Cousine*, душенька, счастливее этого часа не будет больше в моей жизни.

Я ещё над ним смеялась; так мы и отправились. Это было в пять часов».

В тот день, проехав Шотландку, Арнольди увидел перед одним из домов торопливые приготовления хозяев к какому-то пикнику, но не обратил на это внимания. Он торопился в Железноводск, так как огромная чёрная туча нагоняла его от Пятигорска, и крупные капли дождя падали на ярко освещённую местность. Навстречу Александру Арнольди попались Столыпин и Глебов на беговых дрожках. «Глебов правил, а Столыпин с ягдташем и ружьём через плечо имел пред собою что-то покрытое платком. На вопрос мой, куда они едут, они отвечали мне, что на охоту, а я ещё посоветовал

им убить орла, которого неподалёку оттуда заметил на копне сена. Не подозревая того, что они едут на роковое свидание Лермонтова с Мартыновым, я приударил коня и пустился от них вскачь, так как дождь усилился. Несколькими далее я встретил извозчицью дрожжи с Дмитриевским и Лермонтовым и на скаку поймал прощальный взгляд его... последний в жизни» (А. И. Арнольди).

«Что-то покрытое платком» был ящик с дуэльными пистолетами Кухенройтера, теми, из которых стрелялись Лермонтов с де Барантом и принадлежавшие Монго. Пистолеты с кремнево-ударными запалами.

Через несколько лет Глебов расскажет Акиму Шан-Гирею: «Всю дорогу из Шотландки до места дуэли Лермонтов был в хорошем расположении духа. Никаких предсмертных распоряжений я от него не слышал. Всё, что он высказал за время переезда, это сожаление, что не мог получить увольнения от службы в Петербурге, и что ему в военной службе едва ли удастся осуществить задуманный труд. „Я выработал уже план двух романов“, — говорил он».

Выходит, нагнав Столыпина с Глебовым, Лермонтов пересел к ним в дрожжи, а Дмитриевский поехал к месту дуэли один.

Дуэль состоялась в седьмом часу вечера по левой стороне горы Машук. Врача не было. Секунданты отмерили барьер в шесть шагов, противники встали на крайних точках. По условию дуэли каждый из них имел право стрелять, когда ему вздумается, стоя на месте или подходя к барьеру.

Кто были действительными секундантами, не выяснено. Глебов не мог бы кричать: «Стреляйте, или я вас разведу...» Мог кричать только Столыпин. На дуэли Лермонтова с Барантом он так же, продрогнув, злился. Он, вероятно, надеялся, что Мартынов выстрелит в воздух.

Единственный, кто оставил воспоминания о дуэли — это Васильчиков, но верить ему не приходится:

«Мы отмерили с Глебовым 30 шагов; последний барьер поставили на 10-ти и, разведя противников на крайние дистанции, положили им сходитьсь каждому на 10 шагов по команде: „Марш!“ Лермонтов остался неподвижен и, взведя курок, поднял пистолет дулом вверх, заслоняясь рукой и локтем по всем правилам опытного дуэлиста».

Опытным дуэлянтом Лермонтов не был, так как стрелялся второй раз в жизни. Курок не взводил, поскольку уже объяснил, что не будет стрелять. Пистолет держал в опущенной руке, потому что поднимать пистолет было незачем. (На другой день после дуэли Васильчиков назвал следственной комиссии расстояние в 15 шагов, сознавая, что в 30 шагов да плюс 10 шагов, где стоял Лермонтов, никто не поверит.)

«В эту минуту, и в последний раз, я взглянул на Лермонтова и никогда не забуду того спокойного, почти весёлого выражения, которое играло на лице поэта перед дулом пистолета, уже направленного на него. Мартынов быстрыми шагами подошёл к барьеру. Противники столь долго не стреляли, что кто-то из секундантов заметил: „Скоро ли это кончится?“ Мартынов взглянул на Лермонтова — на его лице играла насмешливая, полупрезрительная улыбка... Мартынов спустил курок. Раздался роковой выстрел. Лермонтов упал, как будто его скосило на месте, не сделав движения ни взад, ни вперёд, не успев даже захватить большое место, как это обыкновенно делают люди раненные или ушибленные. Мы подбежали...»

Причиной заминки было, очевидно, то, что в Мартынове, как и Грушницком, началась борьба: выстрелить или нет? «Я решился предоставить все выгоды Грушницкому; я хотел испытать его; в душе его могла проснуться искра великодушия, и тогда

все устроилось бы к лучшему; но самолюбие и слабость характера должны были торжествовать» (*М. Ю. Лермонтов, «Герой нашего времени»*).

Для удовлетворения своего самолюбия Мартынов мог выстрелить в руку или ногу противника, но он убил в упор. И в этот момент начался ливень.

«Он едва дышал; пуля пробила руку и правый бок. По увещеванию секундантов, Мартынов подошёл к Лермонтову и сказал: „Прости, Лермонтов!“ Последний хотел что-то сказать, повернулся и умер со своей ужасною погубившею его улыбкою» (*А. И. Васильчиков*).

Впоследствии в разговоре с Висковатовым Васильчиков дополнил свой рассказ:

«Вероятно, вид торопливо шедшего и целившегося в него Мартынова, вызвал в поэте новое ощущение. Лицо приняло презрительное выражение, и он, всё не трогаясь с места, вытянул руку кверху, по-прежнему кверху же направляя дуло пистолета».

Не было на лице Лермонтова насмешливой, полупрезрительной улыбки, которая бы вызвала раздражение Мартынова! Лермонтов только пристально наблюдал: осталась ли в «друге» хоть капля человеческого чувства? Потому и случилась заминка: Мартынов не сразу решился на выстрел. И руку Лермонтов вверх не вытягивал, ибо сказал уже, что не будет стрелять. «Лермонтов упал, как будто его скосило на месте», «хотел что-то сказать, повернулся и умер со своей ужасною погубившею его улыбкою». Ложь! Пуля разворотила ему внутренности, и в таком состоянии уже невозможно движение, а тем более, какая-либо улыбка.

«Хотя признаки жизни уже, видимо, исчезли, но мы решили позвать доктора, — продолжает Васильчиков. — По предварительному нашему приглашению присутствовать при дуэли, доктора, к которым мы обращались, все наотрез отказались. Я поскакал верхом в Пятигорск, заезжал к двум господам медикам, но получил такой же ответ, что на место поединка по случаю дурной погоды (шёл проливной дождь) они ехать не могут, а приедут на квартиру, когда привезут раненого. Когда я возвратился, Лермонтов уже мёртвый лежал на том же месте, где упал; около него Столыпин, Глебов и Трубецкой. Мартынов уехал прямо к коменданту объявить о дуэли».

Лжёт! О присутствии медика на дуэли сразу не было речи. Мартынов выстрелил, и Лермонтов упал, как подкошенный. С перепугу все бросились наутёк. Бежали на дрожках, а не верхом — не было верховых лошадей. Бросили Глебова с телом убитого, крикнув ему, очевидно, что едут за доктором, и умчались. Почему именно Глебова — он был в компании самым безродным, и значит, незащищённым; один только Лермонтов относился к нему с любовью.

То, что не было верховых лошадей, свидетельствуют Арнольди, Глебов и Раевский:

«На полпути в Железноводск встретил Столыпина и Глебова на беговых дрожках; Глебов правил. Несколько далее я встретил извозчичы дрожки с Дмитриевским и Лермонтовым».

«Всю дорогу из Шотландки до места дуэли Лермонтов был в хорошем расположении духа. Никаких предсмертных распоряжений я от него не слышал».

«После обеда, видим, что Мартынов с Васильчиковым выехали из ворот на дрожках». (Вероятно, и Трубецкой вместе с ними).

О том, что были повозки, запротоколировала на другой день следственная комиссия, выехавшая на место дуэли: на земле остались отпечатки колёс. Три повозки стояли, и ни в одной не нашлось места поэту, чтобы в городе тотчас представить врачу. Но даже пусть кто-то приехал на лошади. Разве нельзя было тело перекинуть через седло и вести лошадь на поводу? Ведь именно так раненых перевозили с поля боя.

«Видим, едут Мартынов и князь Васильчиков. Мы к ним навстречу бросились. Николай Соломонович никому ни слова не сказал и, темнее ночи, к себе в комнату

прошёл, а после прямо отправился к коменданту Ильяшенко и всё рассказал ему. Мы с расспросами к князю, а он только и сказал: „Убит!“ Мы чуть не рехнулись от неожиданности» (Н. П. Раевский).

Значит, Васильчиков прибыл вместе с Мартыновым. А как же тогда его уверения: «Я поскакал верхом в Пятигорск, заезжал к двум господам медикам... около Лермонтова остались Столыпин, Глебов и Трубецкой. Мартынов уехал прямо к коменданту объявить о дуэли».

Раевский пишет, что Мартынов из дома отправился к коменданту, но вот что ответил Мартынов на вопрос следственной комиссии, по чьему приказанию, и в какое время тело убитого перевезено было с места дуэли на его квартиру: «Мне неизвестно, в какое время взято тело убитого поручика Лермонтова. Простившись с ним, я тотчас же возвратился домой; послал человека за своей черкеской, которая осталась на месте происшествия, чтобы явиться в ней к коменданту. Об остальном же и до сих пор ничего не знаю».

Он бедный, когда убежал, даже черкеску свою позабыл. По городу ходил слух, что Мартынов хотел улизнуть к черкесам, но по дороге был схвачен. Кстати, черкеска была у него не одна, незачем в ливень и ночь посылать «человека», но он, вероятно, боялся оставить свой след. И, может быть, слух справедлив, что с перепугу Мартынов кинулся под защиту врагов.

Глебов сидел один под проливным дождём, но всё-таки взял на колени голову Лермонтова, и в этот момент Лермонтов вздохнул. Глебова охватил ужас! Может быть, жив? Покрыв тело поэта своей шинелью, Глебов побежал в город. Об этом он сам рассказал Акиму Шан-Гирею.

А вот показания следственной комиссии Ивана Козлова — слуги Мартынова:

«Мною привезено со степи в расстоянии от города в 4-х верстах тело убитого поручика Лермонтова с помощью кучера Ивана Вертюкова в десять или же в одиннадцатом часу ночи, по приказанию приехавшего оттолль корнета Глебова».

То есть о перевозке тела волновался Глебов, сам не свой примчавшись с места дуэли (возможно, попросил в первых домах Пятигорска коня, чтобы быстрее). И привезли Михаила Юрьевича слуга Лермонтова Иван Вертюков и слуга Мартынова Иван Козлов. Лучший друг Лермонтова, близкий родственник — Монго, захватив свои пистолеты, сбежал в Железноводск, так как это была вторая дуэль с его участием, а ко всему — император его ненавидел: Монго был признан самым красивым мужчиной Петербурга, и вынести это император не мог, считая себя первым красавцем.

Куда убежал Трубецкой, неизвестно, может быть, вместе с Монго, поскольку тоже боялся: ему бы припомнили мнимоумершего графа А. М. Борха, которого они хоронили всем полком под траурный марш полкового оркестра. Да много чего бы припомнили!

Но князь Васильчиков врал, где только мог: «Столыпин и Глебов уехали в Пятигорск, чтобы распорядиться перевозкой тела, а меня с Трубецким оставили при убитом. Как теперь помню странный эпизод этого рокового вечера; наше сиденье в поле при трупе Лермонтова продолжалось очень долго, потому что извозчики, следуя примеру храбрости господ докторов, тоже отказались один за другим ехать для перевозки тела убитого. Наступила ночь, ливень не прекращался... Вдруг мы услышали дальний топот лошадей по той же тропинке, где лежало тело, и, чтобы оттащить его в сторону, хотели его приподнять; от этого движения, как обыкновенно случается, спёртый воздух выступил из груди, но с таким звуком, что нам показалось, что это живой и болезненный вздох, и мы несколько минут были уверены, что Лермонтов ещё жив. Наконец, часов в одиннадцать ночи, явились товарищи с извозчиком,

наряжённым, если не ошибаюсь, от полиции. Покойника уложили на дроги, и мы проводили его все вместе до общей нашей квартиры».

Какова же тогда вера Васильчикову в его воспоминаниях о Лермонтове: «Он был шалун... например, когда к обеду подавали блюдо, которое он любил, то он с громким криком и смехом бросался на блюдо, вонзал свою вилку в лучшие куски, опустошал все кушанье и часто оставлял всех нас без обеда». Получается, что у Лермонтова был не желудок, а курдюк. «Обедая каждый день в Пятигорской гостинице, он выдумал ещё следующую проказу. Собирая столовые тарелки, он сухим ударом в голову слегка их надламывал, но так, что образовывалась только едва заметная трещина, а тарелка держалась крепко, покуда не попадала при мытьё посуды в горячую воду; тут она разом расплзлась, и несчастные служители вынимали из лохани вместо тарелок груды лома и черепков. Разумеется, что эта шутка не могла продолжаться долго, и Лермонтов поспешил сам заявить хозяину о своей виновности и невинности прислуги и расплатился щедро за свою забаву».

Что сказать о Васильчикове? Придумать, что Лермонтов собирал со стола грязные тарелки и бил их о свою голову, мог только дурак. Прозорливый Лермонтов не сразу понял Васильчикова, а может быть, списывал кое-что на его юный возраст. Но когда понял, то «князю Ксандру» не поздоровилось:

*Велик князь Ксандр, и тонок, гибок он,
Как колос молодой,
Луной сребристой ярко освещён,
Но без зерна — пустой.*

В четырёх строчках Лермонтов сказал всё. Этот, едва переступивший порог своего двадцатилетия кандидат прав, имея возможность, как сын председателя Государственного совета, сделать блестящую карьеру, «принял приглашение» ехать на Кавказ к барону Гану для введения там нового административного устройства. В действительности папаша выхлопотал ему это место. Миссия Гана не удалась, и Александр Васильчиков был отправлен в отпуск, оказавшись в Пятигорске.

Но послушаем дальше Николая Раевского:

«Полковник же Зельмиц, как услышал о смерти Лермонтова, — бегом к Марии Ивановне Верзилиной и кричит:

— Ваше превосходительство, наповал!

А та, ничего не зная, ничего и не поняла сразу, а когда уразумела, в чём дело, так, как сидела, на пол и свалилась. Барышни её услышали, — и что тут поднялось, так и описать нельзя. Приехал Глебов, сказал, что покрыл тело шинелью своею, а сам под дождём больше ждать не мог».

Ещё одно доказательство, что с Лермонтовым оставался только Глебов.

А вот что пишет Эмилия Верзилина (Клингенберг):

«Собираться в сад должны были в шесть часов; но вот с четырёх начинает накрапывать мелкий дождь. Надеюсь, что он пройдёт, мы принарядились, а дождь всё сильнее да сильнее и разразился ливнем с сильнейшей грозой. Приходит Дмитревский и, видя нас в вечерних туалетах, предлагает позвать *этих господ* сюда и устроить свой бал».

Лжёт! Не до балов Дмитревскому было!

«Не успел он докончить, как вбегает в залу полковник Зельмиц (он жил в одном доме с Мартыновым и Глебовым) с растрёпанными длинными седыми волосами, с испуганным лицом, размахивает руками и кричит: „*Один наповал, другой под арестом!*“

Мы бросились к нему — что такое, кто наповал, где? „Лермонтов убит!“ Такое известие, и столь внезапное, до того поразило матушку, что с ней сделалась истерика; едва могли её успокоить. От Дмитревского узнали мы подробнее, что случилось».

Верзилина, таким образом, подтверждает, что Дмитревский был на дуэли.

«Когда мы несколько пришли в себя от такого тревожения, — продолжает она, — переоделись и, сидя у открытого окна, смотрели на проходящих, то видели, как проскакал Васильчиков к коменданту и за доктором; позднее провели Глебова под караул на гауптвахту. Мартынова же, как отставного, посадили в тюрьму, где он провёл ужасных три ночи в сообществе двух арестантов, из которых один всё читал псалтырь, а другой произносил страшные ругательства. Это говорил нам сам Мартынов впоследствии».

Лжёт! Никуда Васильчиков не скакал, он затаился в своей квартире и пришёл к коменданту на другой день, да и то уже вынужденно. Глебова не вели под караулом, он сам отдался в руки Ильяшенкову. Мартынов был арестован позднее.

«Комендант Ильяшенков, когда Глебов явился к нему после дуэли и, рассказав о печальном событии, просил арестовать, до такой степени растерялся, что не знал, что делать. Расспрашивая Глебова о происшествии, он суетился, бегал из одной комнаты в другую, делал совершенно неуместные замечания; наконец послал за плац-адъютантом и, переговорив с ним, приказал арестовать Мартынова» (*Служащий Пятигорской военной комендатуры В. И. Чиляев*).

Пятигорского Окружного НАЧАЛЬНИКА

№ 1351, 16 Июля 1841 г.

Пятигорскому плац-майору господину подполковнику Унтилову.

Лейб-гвардии Конного полка корнет Глебов вчерашнего числа в вечеру пришед ко мне в квартиру, объявил, что отставной майор Мартынов убил на дуэли Тенгинского пехотного полка Поручика Лермонтова, и что эта дуэль происходила версты за четыре от города Пятигорска у подошвы горы Машухи.

Подлинное подписал: полковник *Ильяшенков*.

Тело Лермонтова привезли сначала к дому Чиляева, но Глебов уже доложил о дуэли коменданту, «и он приказал отвезти его на гауптвахту. Привезли на гауптвахту, возник вопрос: что с ним делать? Оказалось, что телу на гауптвахте не место, повезли его к церкви Всех Скорбящих (что на бульваре) и положили на паперти. Тут оно лежало несколько времени, и только ночью по чьему-то внушению тело было отвезено на квартиру» (*В. И. Чиляев*).

Александр Арнольди, вернувшись из Железноводска, узнал от своего слуги, что по соседству несчастье: Лермонтова привезли на дрожках раненого. Недоумевая, он поспешил к нему, но застал ставни и двери его квартиры на запоре.

Когда тело Михаила Юрьевича привезли с церковной паперти, слуги Лермонтова положили его на кровать, затем убрали рабочую комнату поэта и положили его на стол.

«Гвоздев, услышав о происшествии и не зная наверно, что случилось, в смутном ожидании отправился на квартиру Лермонтова и там увидел окровавленный труп поэта. Над ним рыдал его слуга. Все, там находившиеся, были в большом смущении. Грустно и больно было ему видеть бездыханным того, чья жизнь так много обещала! Невольно тогда приятелю моему пришли на память стихи убитого товарища: „Погиб поэт, невольник чести» (*А. М. Меринский*).

«Только утром я узнал, что Михаил Юрьевич привезён был уже мёртвым, что он стрелялся с Мартыновым, и, подобно описанному им фаталисту, кажется далёк был от мысли быть убитым, так как, не подымая пистолета, медленно стал приближаться к барьеру, тогда как Мартынов пришёл уже к роковой точке и целил в него» (А. И. Арнольди).

* * *

«Когда страшная весть о его кончине пронеслась по городу, я тотчас же отправился разыскивать его квартиру. Вхожу в сени, налево дверь затворенная, а направо, в открытую дверь, увидел труп поэта, покрытый простыней, на столе; под ним медный таз; на дне его адела кровь, которая за несколько часов ещё сочилась из груди его. Но вот что меня особенно поразило тогда: я ожидал тут встретить толпу поклонников погибшего поэта и, к величайшему удивлению моему, не застал ни одной души» (А. Чарыков).

Позже пришёл врач Барклай-де-Толли в сопровождении подполковника Унтилова, заседателя Черепанова, стряпчего Ольшанского и жандармского подполковника Кушинникова. Было произведено вскрытие тела.

«Пистолетная пуля, попав в правый бок ниже последнего ребра при срастании рёбер с хрящом, пробила правое и левое лёгкое, поднимаясь вверх, вышла между пятым и шестым ребром левой стороны и при выходе порезала мягкие части левого плеча» (*Медицинское заключение № 34, выданное 16 июля 1841 года ординатором Пятигорского военного госпиталя И. Е. Барклаем-де-Толли*).

Тем же составом, взяв с собой надзирателя Марушевского, Глебова и Васильчиков, которому всё же пришлось идти к коменданту, поехали осматривать место дуэли. Васильчиков указал, что стрелялись с 15 шагов.

Секунданты были допрошены в Пятигорском окружном суде.

На вопрос «кто из дуэлянтов сделал первый выстрел», Глебов ответил: «После первого выстрела, сделанного Мартыновым, Лермонтов упал, будучи ранен в правый бок на вылет, почему и *не мог* сделать своего выстрела». Васильчиков подтвердил: «Майор Мартынов выстрелил. Поручик Лермонтов упал уже без чувств и не успел дать своего выстрела».

Лгали оба.

На вопрос «какая причина была поводом к дуэли», ответили:

Глебов: «Поводом к дуэли были насмешки со стороны Лермонтова насчёт Мартынова, который, как говорил мне, предупреждал несколько раз Лермонтова, но, не видя конца его насмешкам, объявил Лермонтову, что он заставит его молчать, на что Лермонтов отвечал ему, что вместо угроз, которых он не боится, требовал бы удовлетворения».

Васильчиков: «В самый день ссоры, когда Майор Мартынов при мне подошёл к поручику Лермонтову и просил его не повторять насмешек для него обидных, сей последний отвечал что он не вправе запретить ему говорить и смеяться, что, впрочем, если обижен, то может его вызвать и что он всегда готов к удовлетворению. Вышеприведённые слова сего последнего как бы подстрекали к вызову».

Был допрошен Мартынов. На вопрос «какая причина была поводом к дуэли», ответил то же, что сказали Васильчиков и Глебов: сам он не хотел дуэли, но Лермонтов вынудил к ней. Прибавил ещё, что его выстрел в Лермонтова имел случайный характер.

(Как Лермонтов общался с этим бесчестными и трусливыми людьми?! Прав Пушкин: гении простодушны и доверчивы).

Город разделился на две партии: одна защищала Мартынова, другая, оправдывала Лермонтова. Было слышно даже несколько таких озлобленных голосов против Мартынова, что, не будь он арестован, ему бы несдобровать.

«На другой день я видел Лермонтова в его квартире на столе, в белой рубашке. Комната была пуста, и в углу валялась его канаусовая малиновая рубашка с кровавыми пятнами» (А. И. Арнольди).

«Я ещё не знал о смерти его, когда встретился с товарищем сибирской ссылки, Вигелиным, который, обратившись ко мне, вдруг сказал:

— Знаешь ли ты, что Лермонтов убит?

Ежели бы гром упал к моим ногам, я бы и тогда, думаю, был менее поражён, чем на этот раз. «Когда? Кем?» — мог только воскликнуть.

Мы оба с Вигелиным пошли к квартире покойника, и тут я увидел Михаила Юрьевича на столе, уже в чистой рубашке и обращённого головою к окну. Человек его обмахивал мух с лица покойника, а живописец Шведе снимал портрет с него масляными красками. Дамы — знакомые и незнакомые — и весь любопытный люд стали тесниться в небольшой комнате, а первые являлись и украшали безжизненное тело поэта цветами... (Н. И. Лорер).

Во дворе дома Чилиева стал собираться народ. Ходили смотреть на убитого — в основном из любопытства. Расспрашивали о причине дуэли. Никто ничего не знал наверняка. Заговорили о «ссоре двух офицеров из-за барышни». Называли то Эмилию, то Надежду Верзилиных, то Екатерину Быховец. Это хождение туда-сюда продолжалось до полуночи. Все говорили шёпотом, точно боялись, чтобы слова их не раздались в воздухе и не разбудили бы поэта, спавшего уже непробудным сном. На бульваре и музыка два дня не играла.

«А мы дома снуём из угла в угол как потерянные. Только уж часов в одиннадцать ночи (16 июля. — **Н. Б.**) приехал к нам комендант Ильяшенков, сказал, что гроб уж он заказал, и велел нам завтра пойти священника попросить. Мы уж и сами об этом подумывали, потому что знали, что бабушка поэта очень богомольная и никогда бы не утешилась, если б её внука похоронили не по церковным установлениям. На другой день Столыпин и я отправились к священнику единственной в то время православной церковки в Пятигорске (церковь Всех Скорбящих Радость). Встретила нас попадья, сказала, что слышала о нашем несчастье, поплакала, но тут же прибавила, что батюшки нет и что вернётся он только к вечеру. Мы стали её просить, целовали у неё ручки, чтобы уговорила она батюшку весь обряд совершить. Она нам обещала своё содействие, а мы, чтоб уж она не могла на попятный пойти, тут же ей и подарочек прислали, разных шёлков тогдашних, их, покупая, о цене не спрашивали.

Вернулись домой, а народу много набралось: и приезжие, и офицеры, и казачки из слободки. Принесли и гроб, и хорошо так его белым глазетом обили. Мы уж собрались тело в него класть, когда кто-то из публики сказал, что так нельзя, что надо сперва гроб освятить. А где нам святой воды достать! Да у кого-то из прислуги нашлась. Мы хотя, в гроб тело положивши, и пропели все хором «Святой Боже, святой крепкий...» и покрестились, но полагали, что этого недостаточно, и очень беспокоились об отсутствии священника.

Опять мы с Столыпиным пошли к священнику. Матушка-то его предупредила, но он всё же не сразу согласился, и пришлось Столыпину вместо 50-ти, 200 рублей ему пообещать. Однако батюшка всё настаивал на том, что по такой-то-де главе «Стоглава» дуэлисты причтены к самоубийцам и потому Михаилу Юрьевичу никакой

заупокойной службы не полагается и хоронить его следует вне кладбища. Боялся он очень от архиерея за это выговор получить. Мы стали уверять его, что архиерей не узнает, а он тут и говорит:

— Вот если бы комендант дал мне записочку, что в своём доносе он обо мне не упомянет, я был бы спокоен.

Мы попробовали у Ильяшенкова эту записочку для священника выпросить, но он сказал, что этого нельзя, а велел на словах передать, что хуже будет, когда узнают, что такого человека дали без заупокойных служений похоронить. Сказали мы это батюшке, Павлу Александровскому, а он опять заартачился. Однако когда ему ещё и икону обещали в церковь дать, он обещался прийти. А икона была богатая, в серебряной ризе и с камнями драгоценными, — одна из тех, которых бабушка Михаила Юрьевича ему целый иконостас надарила» (Н. П. Раевский).

Уговоры священника длились долго. «Руфин Дорохов горячился больше всех, просил, грозил и, наконец, терпение его лопнуло: он как буря накинулся на священника и непременно бы избил его, если бы не был насильно удержан Львом Пушкиным, князем Трубецким и другими» (А. С. Гангблов).

Находившийся при этом священник Василий Эрастов пришёл в негодование, тайком забрал ключи от храма, запер его и скрылся.

«Отец Павел Александровский, хотя и получил разъяснение от следственной комиссии, что смерть Лермонтова не должна быть причислена к самоубийству, лишаящему умершего христианского погребения, всё же не смог отпеть поэта в церкви, Эрастов активно тому противился: забрав тайком ключи от храма, он скрылся, найти его не смогли.

Мы вернулись домой. Народу — море целое. Все ждут, а священника всё нет. Как тут быть? Вдруг из публики католический ксёндз, спасибо ему, вызвался.

— Отец Павел боится, — говорит, — а я не боюсь, и понимаю, что такого человека, как собаку, не хоронят. Давайте-ка я литию и панихиду отслужу.

Мы к этому были привычны, так как в поход с нами ходили по очереди то католический, то православный священник, поэтому с радостью согласились.

Когда он отслужил, то и лютеранский священник, тут бывший, гроб благословил, речь сказал и по-своему стал служить. Одного только православного батюшки при сём не было. Уж народ стал расходиться, когда он пришёл, и, узнавши, что священнослужители других вероисповеданий служили прежде него, отказался служить, так как нашёл, что этого довольно. Насилу мы его убедили, что на похоронах человека греко-русского вероисповедания полагается и служение православное» (Н. П. Раевский).

И всё-таки, отслужив панихиду, Александровский не вписал имя Лермонтова в церковно-метрическую книгу. Получилось, что Лермонтова похоронили без отпевания. (Через несколько месяцев Эрастов обвинит отца Павла в том, что в метрической книге нет записи об отпевании поручика Лермонтова, но похоронен поручик на кладбище, где не положено хоронить самоубийц).

Во время панихиды многие стояли в другой комнате, где лежал окровавленный сюртук поэта, и никому не пришло в голову сохранить его. За оградой дома народ волновался, Дорохов прямо называл Мартынова убийцей, были горячие головы, которые выражали желание мстить и вызвать Мартынова на дуэль! Плац-майор Унтилов несколько раз выходил из квартиры Лермонтова успокаивать толпу.

«В 4 или 5 часов пополудни, я, слышавши, что имеет быть погребено тело умершего поручика Лермонтова, пошёл, по примеру других, к квартире покойника, у ворот коей встретил большое стечение жителей Пятигорска и посетителей минеральных вод. Духовенство погребальным гласом начало пение: „Святый Боже, святый

крепкий, святой бессмертный, помилуй нас“, и с этим вместе медленно выходило из двора; за этим вслед было несено из комнат тело усопшего поручика Лермонтова» (*Коллежский секретарь Д. Роцановский, из показаний следственной комиссии*).

«При выносе же тела, когда увидел наш батюшка музыку и солдат, как и следует на похоронах офицера, он опять испугался.

— Уберите трубачей,— говорит,— нельзя, чтобы самоубийцу так хоронили» (*Н. П. Раевский*).

Люди шли за гробом так тихо, что слышен был шорох сухой травы под ногами. Потом стали коротко переговариваться; затем, не опасаясь больше паникёра отца Павла, полковой оркестр заиграл траурный марш. Погода стояла солнечная, тёплая. Непосредственно за гробом шли начальник Штаба войск Кавказской линии и Черномории Александр Степанович Траскин, комендант Пятигорской крепости Василий Иванович Ильяшенков, и свыше пятидесяти штаб- и обер-офицеров все в белых шарфах.

«В сопровождении целого Пятигорска, священника и музыки мы отнесли Михаила Юрьевича на руках в последнее его жилище. По странному стечению обстоятельств, на похоронах поэта случились представители всех тех полков, в которых служил покойный, так как там были С. Д. Безобразов — командир Нижегородского драгунского полка, А. Ф. Тиран — лейб-гусарского, я — Гродненского гусарского, и дядя мой Н. И. Лорер — Тенгинского пехотного полка. Дамы забросали могилу цветами, и многие из них плакали, а я и теперь ещё помню выражение лица и светлую слезу Иды Мусиной-Пушкиной, когда она маленькой своей ручонкой кидала последнюю горсточку земли на прах любимого ею человека» (*А. И. Арнольди*).

«Вы думаете, все плакали по Лермонтову? Все радовались» (*Священник Василий Эрстов*).

«Когда могилу засыпали, так тут же её чуть не разобрали: все бросились на память об Лермонтове камешков мелких с его могилы набирать. Потом долгое ещё время всем пятигорским золотых дел мастерам только и работы было, что вделывать в браслеты, серьги и брошки эти камешки. А кольца в моду вошли тогда масонские, такие, что с одной стороны гордиев узел, как тогда называли, а с другой камень с могилы Лермонтова. Тогда же Столыпин отдал батюшке и деньги, и икону; а мы тогда же черновую рукопись „Героя нашего времени“, оказавшуюся в столе в рабочей комнате Лермонтова, на память по листкам разобрали» (*Н. П. Раевский*).

На могилу был положен небольшой камень, как временный памятник, на котором значилось: «Поручик Тенгинского пехотного полка Михаил Юрьевич Лермонтов».

Александр Арнольди зарисовал дом в Кисловодске, где происходило действие повести «Княжна Мэри», веранду дома в Пятигорске, где они с Лермонтовым часто сидели вместе, и временную могилу Михаила Юрьевича.

У Арнольди хранилась картина маслом, написанная Лермонтовым — кавказский вид снеговых гор при закате солнца, а также черкесский пояс с серебряной «жерничкой» покойного, который он получил на память о поэте. Все эти вещи он передал через несколько лет генерал-майору Бильдерлингу в Лермонтовский музей, устроенный в школе юнкеров.

В юности Михаил Юрьевич мечтал о такой же судьбе, как у Байрона. И это сбылось. Его поэтический гений встал вровень с гением Байрона, заслужив мировую славу. Так же, как Байрон, он умер не в бою, хоть оба были уверены, что погибнут в сражении.

Как истинный друг человечества, уважавший и понимавший все народы и все религии, Михаил Юрьевич, пусть и невольно, но был отпел тремя священниками: католическим, лютеранским и православным. Это ли не протянутая к нему рука Бога! И первый, кто откликнулся стихами на его смерть, был осетинский поэт Коста Хетагуров.

* * *

Письмо П. Т. Полеводина к неустановленному лицу:

«Теперь 6-й день после печального события, но ропот не умолкает, явно требуют предать виновного всей строгости закона, как подлого убийцу. Пушкин Лев Сергеевич, родной брат нашего бессмертного поэта, весьма убит смертью Лермонтова, он был лучший его приятель. Уверяет, что эта дуэль *сделана против всех правил и чести*».

Москва первая узнала о смерти Лермонтова. Генерал Ермолов гневно воскликнул: «Уж я бы не спустил этому Мартынову! Если бы я был на Кавказе, я бы спровадил его; там есть такие дела, что можно послать, да вынувши часы считать через сколько времени посланного не будет в живых. И было бы законным порядком. Уж у меня бы он не отделался. Можно позволить убить всякого другого человека, будь он вельможа и знатный: таких завтра будет много, а этих людей не скоро дождётся».

Из письма А. Я. Булгакова П. А. Вяземскому. Москва, 31 июля.

«Не знаю, известно ли уже у вас в Петербурге о смерти Лермонтова. Он убит — и убит не черкесом, не чеченцем, а убит русским на дуэли. Сообщу тебе подробности, кои мне известны и кои слышал от Путяты. Мартынов подошёл к самому Лермонтову и выстрелил ему прямо в сердце. Удивительно, что секунданты допустили такой бесчеловечный поступок. Слышно также, что Мартынов хотел бежать в Одессу, а другие говорят, что к горцам, как будто Одесса не та же Россия. Секунданты на гауптвахте, а Мартынов посажен в острог. Армия закавказская оплакивает потерю храброго своего офицера, а Россия одного из лучших своих поэтов. Не стало Лермонтова!..»

Из письма П. А. Вяземского А. Я. Булгакову:

«В нашу поэзию стреляют удачнее, нежели в Людвиг-Филиппа. Второй раз не дают промаха. Да, сердечно жаль Лермонтова, особенно узнавши, что он был так бесчеловечно убит. На Пушкина целила, по крайней мере, французская рука, а русской руке грешно было целить в Лермонтова».

«Государь по окончании литургии в дворцовой церкви, войдя во внутренние покои кушать чай со своими, громко сказал: „Получено известие, что Лермонтов убит на поединке. Собаке — собачья смерть!“ Сидевшая за чаем великая княгиня Мария Павловна вспыхнула и отнеслась к этим словам с горьким укором. Государь внял сестре своей (на десять лет его старше) и, вошедши назад в комнату перед церковью, где ещё оставались бывшие у богослужения лица, сказал: „Господа, получено известие, что тот, кто мог заменить нам Пушкина, убит“ (М. В. Воронцова).

Командующий войсками Кавказской линии и Черномории П. Х. Граббе — начальнику штаба войск Кавказской линии и Черномории А. С. Траскину:

«Несчастливая судьба нас, русских. Только явится между нами человек с талантом — десять пошляков преследуют его до смерти».

Аудитор начальника штаба войск — командиру Кавалергардского полка: «Надо вам рассиропить историю полка, а то ведь у вас только два убийцы — Дантес и Мартынов».

О смерти любимого Мишеньки Елизавета Алексеевна узнала спустя почти месяц: из Москвы приехал Алексей Лопухин. По его убитому виду Арсеньева всё поняла. Велела пустить ей кровь. И уже после попросила Лопухина сказать всю правду. Тихо, покорно приняла она страшную весть. У неё в это время жила Мария Акимовна Шан-Гирей, собираясь вместе с Акимом ехать в Тарханы, и Елизавета Алексеевна решила ехать с ними.

Варенька Лопухина слегла, узнав о смерти Лермонтова.

«Последние известия о моей сестре Бахметевой поистине печальны. Она вновь больна, её нервы так расстроены, что она вынуждена была провести около двух недель в постели, настолько была слаба. Муж предлагал ей ехать в Москву — она отказалась, за границу — отказалась, и заявила, что решительно не желает больше лечиться. Быть может, я ошибаюсь, но я отношу это расстройство к смерти Мишеля, поскольку эти обстоятельства так близко сходятся, что это не может не возбудить известных подозрений (М. А. Лопухина, из письма Верещагиной).

У Елизаветы Алексеевны отнялись ноги. Запретила при ней произносить не только имя внука, но даже слово «поэт».

Кое-как она добралась до Тархан, где Мария Акимовна объявила о смерти Михаила Юрьевича. Страшный плач стоял по селу! От всеобщего неподдельного горя с Арсеньевой случился припадок. После того стало резко снижаться зрение. Все вещи, тетради, игрушки внука она раздала, — их вид вызывал у неё бурные слёзы. Псалтырь, на обложке которого десятилетний Миша написал: «Сия книга принадлежит М. Lermantoff. М. Лермантов», Арсеньева подарила Акиму Шан-Гирею. «Екиму Павловичу Шан-Гирей. Знаю, что тебе приятна будет эта книга — она принадлежала тому, кого ты любил. Читай её, мой друг. Е. А. 1841». На том же листе Шан-Гирей написал: «Лермонтов 15-го июля 1841 убит на дуэли».

Образ Спаса Нерукотворного, которым её благословил ещё дед, и которому она ежедневно молилась о здравии Мишеньки, Арсеньева велела отнести в церковь, сказав: «И я ли не молилась этому образу, а он всё-таки его не спас...»

Всеми силами она теперь добивалась вернуть тело внука в Тарханы.

Михаил Глебов, как военный, был поначалу посажен на гауптвахту, но почти сразу, принимая во внимание, что его рана ещё в опасности, отправлен под домашний арест. Васильчиков тоже выпросил относительную свободу: «Меня перевели по моей просьбе в Кисловодск, потому что нарзан мне необходим. Я живу здесь в слободке скромно, вдвоём с Столыпным. Меня выпускают в ванны и на воды с часовым».

Глебов больше всех переживал за своё участие в дуэли. Сын мелкопоместного дворянина, без связей, он знал, что ему не избежать сурового наказания, в то время как Васильчиков, сын председателя Государственного совета, отделается легко. Догадывался, что осторожный Мартынов не стал бы убивать Лермонтова, если бы не имел надежды на заступничество. Глебов теперь прилагал все усилия, чтобы выкрутиться.

Мартыновым и секундантами занималось жандармское министерство, вёл допросы подполковник Кушинников, усиленно добиваясь: была ли дуэль по всем правилам, или было убийство? И ещё один человек добивался того же — плац-майор Унтилов.

Мартынов и секунданты имели возможность переписываться, и Глебов наставлял Мартынова: «Посылаем тебе брьюльон 8-й статьи. Ты к нему можешь прибавить по своему уразумению; но это сущность нашего ответа. Прочие ответы твои совершенно согласуются с нашими, исключая того, что Васильчиков поехал верхом на своей лошади, а не в дрожках беговых со мной. Ты так и скажи. Лермонтов же поехал на моей лошади: так и пишем».

Как ни вертелись Мартынов и секунданты, выгораживая себя, Унтилов им не верил. Почувствовав это, Мартынов решил признаться: «По условию дуэли, каждый из нас имел право стрелять когда ему вздумается, стоя на месте или подходя к барьеру. Я первый пришёл на барьер; ждал несколько времени выстрела Лермонтова, потом спустил курок».

Свои показания он переправил Васильчикову и Глебову. Друзья разозлились: «Признаться тебе, твоё письмо несколько было нам неприятно. Я и Васильчиков не только по обязанности защищаем тебя везде и во всём, но и потому, что не видим ничего дурного с твоей стороны в деле Лермонтова и приписываем этот выстрел несчастному случаю (все это знают, судьба так хотела, тем более, что ты в третий раз в жизни своей стрелял из пистолета; второй, когда у тебя пистолеты рвало в руке, и этот третий), и совсем не потому, чтобы ты хотел пролить кровь, в доказательство чего приводим то, что ты сам не походил на себя, бросился к Лермонтову в ту секунду, как он упал, и простился с ним. Что же касается до правды, то мы отклоняемся только в отношении Трубецкого и Столыпина, которых имена не должны быть упомянуты ни в каком случае».

Все трое уверяли следственную комиссию в виновности Лермонтова: он привязывался к Мартынову с самого приезда в Пятигорск, на вечере у Верзилиных смеялся над ним, и когда Мартынов его попросил прекратить, он ответил: «Ты не можешь мне запретить говорить про тебя то, что я хочу».

Допрошенные слуги Мартынова и Лермонтова в один голос уверяли, что никаких ссор или размолвок между Лермонтовым и Мартыновым не было «жили дружно, и даже в тот день, 15 июля, никаких ссор не происходило».

Окружной суд обратился к Мартынову с вопросами: «Ваши ли был размерен барьер или же секундантами и по вашему ли с Лермонтовым согласию было назначено это расстояние для выстрела? Чьи были пистолеты и заряды и сами ли вы заряжали оные или кто другой? Не заметили ли вы у пистолета Лермонтова осечки или он выжидал вами произведённого выстрела, и не было ли употреблено с вашей стороны или секундантов намерения к лишению жизни Лермонтова?»

Узнав об этих вопросах, Васильчиков перепугался: «Непреренно и непременно требуй военного суда. Гражданским тебя замучат. Полицмейстер на тебя зол, и ты будешь у него в лапках. Проси коменданта, чтобы он передал твоё письмо Траскину. Столыпин судился (после дуэли Лермонтова с Барантом. **Н. Б.**) военным судом».

Мартынов ответил: «Узнай от Столыпина, как он это сделал? Комендант был у меня сегодня; очень мил, предлагал переменить тюрьму, продолжить лечение и впускать ко мне всех знакомых и проч. А bestия стряпчий пытал меня, не проболтаюсь ли. Когда увижу тебя, расскажу, в чём».

Исполняющий должность стряпчего Пятигорска Ольшанский был уверен, что дуэли не было, было убийство. «... Для Ольшанского ясно, что поединка, как такового, не было». (Из анализа материалов следствия).

...Здесь нужно вернуться к медицинскому заключению, выданному 16 июля 1841 года ординатором Пятигорского военного госпиталя И. Е. Барклаем-де-Толли: «Пистолетная пуля, попав в правый бок ниже последнего ребра при

срастании рёбер с хрящом, пробила правое и левое лёгкое, поднимаясь вверх, вышла между пятым и шестым ребром левой стороны и при выходе порезала мягкие части левого плеча».

В семидесятые годы 20-го века в печати появились предположения, что выстрел был сделан одним из казаков, сидевших в засаде, нанятым чуть ли не государем, — иначе бы пуля прошла напрямую, а не под углом в 35 градусов. Было и такое предположение: Лермонтов подъехал верхом на условленное место, но не успел слезть с седла, как стоявший на земле Мартынов выстрелил в упор снизу-вверх; отсюда и траектория полёта пули.

Однако у офицеров, бывших в то время в Пятигорске, таких подозрений не возникло, хоть все они были осведомлены о медицинском заключении Барклая-де-Толли. Не возникло таких подозрений и у комиссии, проводившей расследование, так как для круглых свинцовых пуль, тем более выпущенных из пистолета, возможен любой раневой канал из-за маленькой энергии и низкой стабильности.

Стряпчий Ольшанский, убеждённый, что поединка, как такового, не было, имел в виду отказ Лермонтова стрелять (о чём уже знал весь Пятигорск). По подсказке Васильчикова, Мартынов отправил письмо Бенкендорфу: «Сиятельнейший граф, милостивый государь. Бедственная история моя с Лермонтовым заставляет меня утруждать Вас всепокорнейшею просьбою. По этому делу я передан теперь гражданскому суду. Служивши постоянно до сих пор в военной службе, я свyksя с ходом дел военных ведомств и властей и потому за счастье почёл бы быть судимым военными законами. Не оставьте, Ваше Сиятельство, просьбу мою благословенным вниманием. Я льщу себя надеждою на милостивое ходатайство Ваше, тем более что сентенция военного суда может доставить мне в будущем возможность искупить проступок собственною кровью на службе Царя и отечества».

Это письмо для отправки в Петербург Мартынов передал через кого-то Глебову, разъяснив письменно: «Чего я могу ожидать от гражданского суда? Путешествия в холодные страны? Вещь совсем не привлекательная. Южный климат гораздо полезнее для моего здоровья, а деятельная жизнь заставит меня забыть то, что во всяком месте было бы нестерпимо моему раздражительному характеру».

Между тем Кушинников и Ольшанский продолжали задавать ему вопросы, на которые трудно было ответить. Например, почему, измученный насмешками Лермонтова, Мартынов не обратился в суд? Пришлось Мартынову сочинять более вескую причину дуэли: якобы Лермонтов вывел его сестру княжной Мэри в романе «Герой нашего времени», чем глубоко оскорбил не только её, но и его, Мартынова.

Допустить причиной только несчастную «княжну Мэри» было нельзя. Об этом ему прямо заявил Кушинников. И Мартынов припомнил пропавший пакет! Присовокупив, что с письмами в нём находился дневник Натальи Мартыновой, он повернул дело так, что Лермонтов, безответно влюблённый в его сестру, знал о наличии дневника и был заинтересован прочесть его.

Не было дневника! Стоит вспомнить письмо Мартынова к матери и её ответ:

«Триста рублей, которые вы мне послали через Лермонтова, получил, но писем никаких, потому что его обокрали в дороге, и деньги эти, вложенные в письмо, также пропали; но он, само собою разумеется, отдал мне свои. Если вы помните содержание вашего письма, то сделайте одолжение — повторите; также и сестёр попросите от меня...»

«Как мы все огорчены, что наши письма, писанные через Лермонтова, до тебя не дошли. Он освободил тебя от труда их прочитать, потому что в самом деле тебе бы пришлось читать много: твои сёстры целый день писали их».

О «пропавшем дневнике» Кушинников отправил донесение Дубельту в Петербург, нисколько не веря этому вымыслу. И если бы дело Мартынова продолжало вести жандармское министерство, Кушинников бы докопался до истины. Но Бенкендорф снисошёл к раболопной просьбе Мартынова: дело передали военному суду. Мартынова перевели из тюрьмы на гауптвахту.

«Когда его перевели на гауптвахту, которая была тогда у бульвара, то ему позволено было выходить вечером в сопровождении солдата подышать чистым воздухом, и вот мы однажды, гуляя на бульваре, встретили нечаянно Мартынова. Это было уже осенью; его белая черкеска, чёрный бархатный бешмет с малиновой подкладкой произвели на нас неприятное впечатление. Я не скоро могла заговорить с ним, а сестра Надя положительно не могла преодолеть своего страха. Васильчикову и Глебову заменили гауптвахту домашним арестом. Они все трое бывали у нас каждый день до окончания следствия и выезда из Пятигорска. Старательно мы все избегали произнести имя Лермонтова, чтобы не возбудить в Мартынове неприятного воспоминания о горестном событии» (Э. А. Верзилина).

Дружеские отношения Верзилиных с убийцами поэта дали повод горожанам думать, что в дуэли был всё же виновен Лермонтов. Мартынов не упускал возможности рассказать о несчастной своей сестре и «пропавшем дневнике», и за Лермонтовым пополз шлейф непорядочного человека. Как тут не вспомнить его строки:

*За всё, за всё Тебя благодарю я:
За тайные мучения страстей,
За горечь слёз, отраву поцелуя,
За месть врагов и клевету друзей;
За жар души, растроченный в пустыне,
За всё, чем я обманут в жизни был...
Устрой лишь так, чтобы Тебя отныне
Недолго я ещё благодарил.*

Пятигорский окружной суд непременно потребовал бы переписку Мартынова, в которой ни он, ни его мать, ни о каком дневнике, вложенном в пакет, не упоминали. Но дело Мартынова по требованию военного министра было передано Траскину, да к тому же с указанием императора закончить как можно скорее. Закончили в 4 дня. По совету Траскина, переданному через Васильчикова и Глебова, Мартынов исключил из своих показаний упоминание об условиях дуэли. «Покамест не упоминай об условии трёх выстрелов, — пишет Глебов, — если позже будет о том именно запрос, тогда делать нечего, надо будет сказать всю правду».

Глебов при допросе дополнил: «О старой же вражде между ними, нам, секундантам, не было известно. Мартынов и Лермонтов нам об этом не говорили». Тем самым он подтвердил «княжну Мэри» и «пропавший дневник». С количеством секундантов Васильчиков и Глебов запутали комиссию. Сперва секундантом был один Глебов, потом добавился Васильчиков, потом оказалось, что командовали на дуэли то Столыпин, то Трубецкой.

Суд вынес решение: «Подсудимых — отставного майора Мартынова, за произведение с поручиком Лермонтовым дуэли, на которой убил его, а корнета Глебова и князя Васильчикова за принятие на себя посредничества при этой дуэли, лишить чинов и прав состояния».

Согласно установленному порядку, окончательное решение принимал император, и Николай I вынес свою резолюцию: «Майора Мартынова посадить в крепость на

гауптвахту на три месяца и предать церковному покаянию, а титулярного советника князя Васильчикова и корнета Глебова простить, первого во внимание к заслугам отца, а второго по уважению полученной им в сражении тяжёлой раны».

Постановление военного суда гласило: Мартынову отбыть трехмесячный арест на Киевской крепостной гауптвахте; срок церковного покаяния для него назначит Киевская духовная консистория. Васильчиков и Глебов были прощены.

* * *

Священник Василий Эрастов через месяц после похорон Лермонтова затеял тяжбу с настоятелем Павлом Александровским за то, что «он, погребши в июле месяце тело убитого на дуэли Лермонтова, в статью метрических за 1841 год книг его не вписал, и данные 200 рублей ассигнациями в доходную книжку причта не внёс». В результате, 15 декабря 1841 года было начато «Дело по рапорту Пятигорской Скорбященской церкви Василия Эрастова о погребении в той же церкви протоиереем Павлом Александровским тела наповал убитого на дуэли поручика Лермонтова».

В это же время Арсеньева добилась перезахоронения тела любимого Мишеньки. Из документа, разрешающего провоз тела и выправленного в Чембаре 12 февраля 1842 года, Иван Вертюков был в числе тех, кого Арсеньева послала за останками Михаила Юрьевича. Кроме него значились Андрей Соколов и Иван Соколов. До Пятигорска они добрались в середине марта. 22 марта гроб с телом Лермонтова был вырыт из могилы.

«Ранней весной 1842 г. офицер Куликовский посетил могилу Лермонтова. Камень с надписью, по вырытии праха поэта, лежал рядом с могилой, которая оставалась незакопанною. Вдруг пронёсся слух, что кто-то хотел похитить этот камень, и благодетельное начальство приказало зарыть его в могилу. „Через несколько дней по уезде тела Лермонтова из Пятигорска, в одну из родительских суббот, я сам видел, — говорил упомянутый выше офицер, — камень был сброшен уже в могилу и стоял в ней торчком, где его после и зарыли. Теперь нет никакого следа могилы, немногие старожилы узнают это место, по углублению в земле, но я уже указать вам не могу“» (П. К. Мартыанов. «Всемирный труд», 1870 г.).

25 дней слуги везли тело Лермонтова. Задолго до Тархан крестьяне Арсеньевой сняли с телеги гроб, запаянный в тяжёлый свинцовый ящик, накрытый чёрным бархатом, и понесли своего Михаила Юрьевича на руках. Когда дошли до Тархан, слышалось похоронное пение деревенского хора. Лицо бабушки было как каменное, глаза от постоянных слёз уже ничего не видели. Дотронулась рукой до холодного ящика, спросила: «Здесь ли мой Мишенька?..»

Состоялось отпевание Михаила Юрьевича. Были Мария Акимовна, Павел Петрович, Аким и Катя Шан-Гирей, Евреиновы, множество соседей и все крестьяне Тархан. Из церкви к часовне Елизавета Алексеевна шла за гробом тихо, низко опустив голову. Аким Шан-Гирей и Павел Евреинов вели её под руки. Михаил Юрьевич был погребён в фамильном склепе рядом с дедом и матерью, о чём урядник Москвин отрапортовал пензенскому губернатору. Над могилой поэта установили памятник из чёрного мрамора; на лицевой стороне его под позолоченным лавровым венком значилось: «Михайло Юрьевич Лермонтов», на левой стороне: «Родился 1814 года, 3 октября», справа: «Скончался 1841 года, 15 июля».

Время перезахоронения Михаила Юрьевича совпало с наступающими Пасхальными праздниками, но Арсеньева объявила по селу траур, и, снисходя к её горю,

священники не стали проводить обязательной праздничной службы. За что получили выговор от епископа.

Вместе с прахом Лермонтова были доставлены из Пятигорска его вещи и рукописи, которые Монго оставил под ответственность Василия Ивановича Чилиева. Разбирая их, Аким Шан-Гирей обнаружил записную книжку В. Ф. Одоевского, подаренную поэту перед отъездом его из Петербурга, в ней были стихотворения Лермонтова. Последним стояло «Нет, не тебя так пылко я люблю» — предсмертная память о Вареньке Лопухиной. Она пережила Михаила Юрьевича на десять лет, и тихо угасла. Похоронили её в Малом соборе Донского монастыря.

*...для прекрасного могилы нет!
Когда я буду прах, мои мечты,
Хоть не поймёт их, удивлённый свет
Благословит. И ты, мой ангел, ты
Со мною не умрёшь. Моя любовь
Тебя отдаст бессмертной жизни вновь,
С моим названьем станут повторять
Твоё... На что им мёртвых разлучать?*

М. Ю. Лермонтов, «1831-го июня 11 дня».

После перезахоронения Мишеньки, над тремя дорогами могилами Арсеньева выстроила часовню. Перед входом в неё распорядилась посадить дуб — как хотел её Мишенька.

*Надо мной чтоб вечно зеленея
Тёмный дуб склонялся и шумел.*

Крестьяне вырыли в лесу несколько молодых дубков, посадили вблизи часовни, но прижилось только одно деревце — возле входа.

Елизавета Алексеевна умерла в 1845 году в возрасте 72 лет, и была похоронена в той же фамильной часовне. По её духовному завещанию владельцем Тархан стал её брат Афанасий Алексеевич Столыпин. Ему же она завещала раздать 300 тысяч рублей нескольким родственникам. «Другим наследникам и родственникам до вышеобъяснённого имения и денежного капитала дела нет и ни почему не вступаться в сие моё приобретение».

За два года до смерти, Арсеньева дала вольную Андрею Соколову, но он никуда не ушёл, жил в маленьком флигеле на барской усадьбе, продолжая исполнять обязанности слуги.

«На дворе, в ста шагах от дома, построен маленький флигелёк, где давно уже проводит свои грустные дни бывший слуга Лермонтова, дряхлый, слепой старик, когда-то всей душой преданный поэту. Если вы спросите у него, помнит ли он своего барина? — Андрей Иванович привстанет с своего места и весь задрожит. „Портрет, — усиливается он произнести, — портрет“... и несёт показать вам сделанный масляной краской снимок лица, чей образ ему так мил и дорог» («Пензенские губернские ведомости», 1867 г.).

Андрей Иванович умер в 1875 году в возрасте 80 лет и был погребён в Тарханах. До конца своих дней он свято берёт вещи М. Ю. Лермонтова. Только благодаря ему часть вещей сохранилась: шкатулка орехового дерева с бронзовой отделкой, эполеты корнета с одной звёздочкой, сафьяновые чуваки с серебряным позументом

черкесской работы, купленные Лермонтовым на Кавказе. Но не сохранился портрет Михаила Юрьевича.

* * *

В 1844 году Аким Павлович Шан-Гирей, служивший адъютантом начальника полевой конной артиллерии, подал в отставку. Уехал в Пятигорск и приобрёл небольшое имение неподалёку от города. Семь лет спустя женился на Эмилии Александровне Верзилиной, дружески принимавшей Мартынова после убийства поэта. Шан-Гирею было 32 года, Эмилии 36. Репутацию она имела весьма нехорошую. За два года до роковой дуэли она сошлась с князем Бярятинским, а потом избавлялась от «плода любви», — Бярятинский выслал ей в возмещение 50 тысяч. Эта дама была, очевидно, доступной, иначе бы не составили на неё стишок «за девицей Эмили молодёжь как кобели», перефразировав экспромт Лермонтова. Однако смогла окопачить Шан-Гирея. В семье родились сын и дочь.

Аким Павлович занимался ирригационными работами на Кавказе, открыв месторождение серы в Нахичеванском уезде. Бывал у Святослава Раевского в Пензе, и вместе они подготовили ряд документов о Лермонтове, которые предполагалось издать.

Раевский горячо любил и по-настоящему понимал Лермонтова. Ценные, хоть и короткие сведения передал он пензенскому учителю Хохрякову, собирателю материалов о Лермонтове. Ими пользовались потом первые биографы Лермонтова, в том числе П. А. Висковатов.

При жизни Михаила Юрьевича был издан единственный томик его стихов. В 1843 году Краевский переиздал его роман «Герой нашего времени». С 1842 по 1844 г. вышло расширенное издание стихотворений поэта, а в 1847 г. — двухтомник «Сочинения Лермонтова».

С 1856 года стали выходить заграничные издания произведений Михаила Юрьевича, в 1873 году были напечатаны его письма, переизданные в 1880, 1882, 1887 годах. К 1891 году Павел Александрович Висковатов подготовил биографию поэта, которая вошла в шестой том его собрания сочинений.

«Я не знаю языка лучше, чем у Лермонтова. Я бы так сделал: взял его рассказ „Тамань“ и разобрал бы, как разбирают в школах, по предложениям, по частям предложения. Так бы и учился писать. Не могу понять, как мог он, будучи мальчиком, сделать это! Вот бы написать такую вещь, тогда бы и умереть можно!» (А. П. Чехов).

Стихи Лермонтова перекладывались на музыку, по его поэме «Демон» Григорий Рубинштейн написал оперу. После Революции 1917 года интерес к творчеству М. Ю. Лермонтова ещё усилился. По его произведениям были поставлены фильмы, в театрах играли «Маскарад». Нет человека в России, кто не читал бы его произведений.

Особое место в его творчестве занимают стихи о Родине. Как сильно отозвались они в русских сердцах во время Великой Отечественной войны, когда фашисты рвались к Москве! На всех газетных полосах и плакатах были словно вот только что написанные строки из «Бородина»: «Ребята! Не Москва ль за нами?» Никогда ни один из поэтов не был так близок и дорог людям, готовящимся сдержать клятву верности и ценой своей жизни спасти свою землю.

В 1974 году из Шипово в Тарханы был перевезён прах Юрия Петровича Лермонтова и перезахоронен рядом с часовней, где упокоились его жена и гениальный сын.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Алексей Аркадьевич Столыпин (Монго) уехал из Пятигорска, как только окончил лечебный курс. Находился в полку, но вскоре подал в отставку. Во время крымской компании вновь поступил на службу, храбро дрался под Севастополем, участвовал в его обороне, за боевое отличие получил золотое оружие и чин майора. В тот же период у него обнаружили признаки чахотки. Попросил Николая I разрешить лечение за границей; император отказал. Согласие было получено позже, благодаря поддержке лейб-медика Мандта, но было упущено время. В Париже Монго перевёл на французский язык роман «Герой нашего времени». Хотел ли он этим загладить вину перед Лермонтовым или имелась другая побудительная причина, но он дал редакции основание написать: «Господин Лермонтов недавно погиб на дуэли». Это было первое печатное сообщение о дуэли Лермонтова. В России истинная причина смерти поэта не упоминалась, как не упоминалось и о дуэли Пушкина.

Умер Монго во Флоренции, в возрасте 44 лет. Прах был перевезён в Петербург и захоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской Лавры, где нашли упокоение все Столыпины.

Сергей Васильевич Трубецкой был выслан из Пятигорска к месту службы сразу после дуэли Лермонтова, и вскоре переведён в Апшеронский пехотный полк. В 1843 году в чине штабс-капитана **«уволен за болезнью, для определения к статским делам»**. Несколько лет о «шалостях» князя ничего не было слышно, но в 1851 году он увёз от нелюбимого мужа Лавинию Жадимирскую, которая в своё время отвергла ухаживания государя. Гнев Николая был страшен — он поднял на ноги всю жандармерию, и беглецов схватили под Тифлисом. Несколько месяцев Трубецкой отсидел в Алексеевском рavelине Петропавловской крепости, затем был отдан в солдаты с лишением титула, чинов и состояния. Эта трагическая судьба влюблённых послужила материалом для романа Булата Окуджавы «Путешествие дилетантов».

В 1854 году за особые отличия Трубецкого произвели в прапорщики, что давало возможность просить о помиловании. Николай I удовлетворил прошение. Сергей Васильевич поселился в своём имении в Муромском уезде, где под видом экономки стала жить вместе с ним горячо им любимая Лавиния Жадимирская. Умер Сергей Трубецкой в 1859 году, было ему 44 года.

Михаил Павлович Глебов, излечившись от ранения, отправился на Кавказ адъютантом командира Отдельного Кавказского корпуса. 28 сентября 1843 года в районе Ставрополя был захвачен горцами в плен, и томился в плену два месяца. Для освобождения молодого офицера генерал Нейдгардт подкупил «своих» горцев, и они выкрали его. В 1843–1845 годах в Тифлисе Глебов встречался с немецким литератором Боденштедтом, которому передал для перевода 17 стихотворений М. Ю. Лермонтова, ныне утраченных. На Кавказе заслужил множество наград, славу отчаянного храбреца и неустрашимого воина. 9 августа 1847 года ротмистр лейб-гвардии Конного полка Михаил Павлович Глебов был убит выстрелом в голову при перестрелке в осаде аула Салты. В момент своей гибели сидел на коне перед готовящимся к атаке батальоном. Было ему, как и Лермонтову, 26 лет.

Руфин Иванович Дорохов продолжал служить на Кавказе в небольших офицерских чинах и погиб в 1852 году во время одного из сражений, изрубленный незаметно подкрадшейся партией горцев. Очевидец рассказывал: «На моих глазах было, когда он погиб. Кстати, как удивлён я был, читая „Войну и Мир“ Толстого лет 30 тому назад! Ведь его Долохов написан с моего старого знакомого Руфина Ивановича Дорохова! Толстой мог знать его в самый последний год его жизни, так как Дорохов был убит год спустя по прибытии Льва Николаевича на Кавказ. Но, несомненно, что все

характеристические черты и особенности Долохова взяты Толстым с Дорохова. Да, это был человек даже на Кавказе среди отчаянно храбрых людей поражавший своей холодной, решительной смелостью».

Александр Иванович Арнольди участвовал в 1842 году в Ичкерийской экспедиции в составе Моздокского казачьего полка. Через год возвратился в Гродненский полк, прослужив в нем свыше двадцати лет. В 1849 году участвовал с полком в Венгерском походе. В 1877–1878 годах во время русско-турецкой войны командовал 4-й кавалерийской дивизией и стал первым русским губернатором болгарской столицы Софии.

Александр Илларионович Васильчиков долгое время жил в благополучии, родил троих детей, но когда в печати стали появляться статьи о дуэли Лермонтова с Мартыновым, забеспокоился. В 1867 году вышла книга А. Любавского «Русские уголовные процессы», где автор как опытный юрист добросовестно привёл два варианта описания дуэли, воспользовавшись ответами Васильчикова и Мартынова на вопросы следственной комиссии. Васильчиков показывал, что один из секундантов подал знак рукою, и *дуэлянты, по сему знаку сойдясь к барьеру, остановились*. Мартынов же показывал иное: «он, Мартынов, *первый подошёл к барьеру, ждал несколько времени выстрела Лермонтова, потом спустил курок*». Публика заговорила об убийстве поэта, тучи над Мартыновым и Васильчиковым сгустились.

И мёртвый поэт торжествовал над ними!

Васильчиков написал пространные воспоминания, обеляя себя со всех сторон, но добился обратного: ложь его скоро была раскрыта и стали говорить, что он-то и был инициатором убийства.

Николай Соломонович Мартынов был помещён на три месяца на гауптвахту в Киеве, после чего Киевская духовная консистория определила ему покаяние сроком в 15 лет. Но уже 11 августа 1842 года Мартынов подал прошение в Святейший Синод, ходатайствуя, «сколько возможно, облегчить участь». Срок был сокращён до семи лет, после чего Мартынов обратился в духовную консисторию с «покорнейшею просьбою о смягчении приговора, о дозволении во время церковного покаяния иметь жительство, где домашние обстоятельства того потребуют». Просьба была удовлетворена.

«Мне случилось в 1843 году встретиться в Киеве с тем, кто имел несчастье убить Лермонтова; он там исполнял возложенную на него епитимию и не мог равнодушно говорить об этом поединке; всякий год в роковой его день служил панихиду по убиенном, и довольно странно случилось, что как бы нарочно прислали ему в тот самый день портрет Лермонтова; это его чрезвычайно взволновало» (*А. Н. Муравьев*).

Напрасно Муравьев поверил стенаниям Мартынова: Николай Соломонович отмечал роковую дату не панихидой по Лермонтову, а очередным прошением о сокращении срока покаяния.

Андрей Иванович Дельвиг тоже встречал Мартынова в Киеве:

«У генерал-губернатора Юго-Западного края Бибикова было несколько балов, на которых танцевал, между прочим, Мартынов, убивший на дуэли поэта Лермонтова и посланный в Киев на церковное покаяние, которое, как видно, не было строго, потому что Мартынов участвовал на всех балах и вечерах и даже через эту несчастную дуэль сделался знаменитостью».

«Мартынов обыкновенно ходил с какой-то дамой, не очень молодой, небольшого роста и достаточно черноватой; при них было двое детей. Об этом тоже ходили какие-то разговоры... Кстати, передам об одном случае с Мартыновым; о том рассказал мне мой отец, который, кажется, сам даже был свидетелем этого случая. После обедни в церкви Киево-Печерской Лавры митрополит Филарет вышел с крестом, к которому все стали прикладываться. Мартынов, перед тем разговаривавший

с дамами, подошёл за ними ко кресту и, наскоро проделав подобие крёстного знаменья, хотел, в свою очередь, поцеловать крест. „Не так“, — громко заметил ему митрополит. Мартынов сконфузился, но очень скоро перекрестился и снова наклонился к кресту. „Не так!“ — снова сказал митрополит и прибавил: „Спаситель заповедал нам креститься таким образом: ‘Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь’“. При этом митрополит весьма истово перекрестился. Мартынов в свою очередь так же истово прочёл молитву и перекрестился. Тогда святитель глубоко вздохнул и сказал: ‘Так’, дал поцеловать крест и удалился в алтарь. Об этом случае долго шумел в то время весь Киев» (А. И. Маркевич).

Было с чего шуметь: человек, который не первый год находился на покаянии, а значит, бывший на всех церковных службах, не знает, как правильно перекреститься и что нужно сказать, прикладываясь к кресту. Как же смотрели за ним святые отцы? И как же он «каялся»? Такой лицедей не мог не убить Лермонтова. Знал, что Лермонтов рано ли поздно выведет его на чистую воду. Вот и причина убийства.

Лицедейство было, как видно, семейной чертой Мартыновых. То мамашины стоны о «прочитанных» письмах, то «княжна Мэри»; а 1852 году младшая сестра Мартынова в разговоре с Я. К. Гротом утверждала, что *Мартынов вынужден был выйти в отставку из-за дуэли с Лермонтовым*. Не много и лет-то прошло, чтобы ей запомнить.

В 1846 году Мартынов был полностью избавлен от епитимьи. За год до этого он женился на дочери киевского губернского предводителя. После Киева поселился в Москве в отчем доме. При посредничестве Васильчикова записался в Английский клуб, играл в карты и был, вероятно, счастлив встречаться в клубе с Бахметевым, мужем Вареньки Лопухиной, который всей душой ненавидел Лермонтова.

За годы совместной жизни супруги Мартыновы родили пять дочерей и шестерых сыновей. Мартынов несколько раз пытался в печати обелить себя. Его, как и Васильчикова, пугали появлявшиеся расследования дуэли. Злился, что слава Лермонтова растёт с каждым днём: выходят книги в России и за границей, стихи учат во всех гимназиях, готовится к постановке опера «Демон», романы на стихи Лермонтова исполняют знаменитые певцы — русские и зарубежные, гастролирующие в России.

Пророчески сказал Лермонтов в восемнадцать лет:

*Я рождён, чтоб целый мир был зритель
Торжества иль гибели моей.*

«Мне было уже пятнадцать лет, и я был страшно поражён, что слышу о Лермонтове, как о лично знакомом говорящему... Я встречал Мартынова в Париже. Мы, тогда молодые люди, окружили его, стали дразнить, обвинять:

— Вы убили солнце русской поэзии! Вам не совестно?!

— Господа, сказал он, — если бы вы знали, что это был за человек! Он был невыносим. Если бы я промахнулся тогда, то я бы убил его потом. Когда он появлялся в обществе, единственной его целью было испортить всем настроение. Все танцевали, веселились, а он садился где-то в уголке и начинал над кем-нибудь смеяться, посылать из своего угла записки с гнусными эпиграммами. Поднимался скандал, кто-то начинал рыдать, у всех портилось настроение. Вот тогда Лермонтов чувствовал себя в порядке...» (А. А. Игнатъев).

Молодой граф Игнатъев поверил, что Мартынов говорит искренне, и до конца своих дней ненавидел Лермонтова. Из уст его родственников, из уст его друзей и покровителей шла молва о несносном характере Михаила Юрьевича.

Владимир Михайлович Голицын хорошо помнил Мартынова:

«Жил он в Москве уже вдовцом, в своём доме в Леонтьевском переулке, окружённый многочисленным семейством, из коего двое его сыновей были моими университетскими товарищами. Я часто бывал в этом доме и не могу не сказать, что Мартынов-отец как нельзя лучше оправдывал данную ему молодёжью кличку „Статуя командора“. Каким-то холодом веяло от всей его фигуры: беловолосой, с неподвижным лицом, суровым взглядом. Стоило ему появиться в компании молодёжи, часто собиравшейся у его сыновей, как болтовня, веселье, шум и гам разом прекращались и воспроизводилась известная сцена из „Дон-Жуана“. Он был мистик, по-видимому, занимался вызыванием духов, стены его кабинета были увешаны картинами самого таинственного содержания, но такое настроение не мешало ему каждый вечер вести в клубе крупную игру в карты, причём его партнёры ощущали тот холод, который, по-видимому, присущ был самой его натуре».

Умер Николай Мартынов в 1875 году в возрасте 60 лет и был похоронен в фамильном склепе возле подмосковного села Иевлево. В 1924 году в этой усадьбе разместилась колония для беспризорников. Прошедшие огонь, воду и медные трубы, колонисты дружно разорили склеп, изъяв то, что нашли ценного, а кости Мартынова вместе с костями всех остальных, кто покоился там, утопили в пруду.

